

Николай Левченко

БЛЕФ



16+

Николай Левченко

БЛЕФ

«Автор»

2017

Левченко Н. И.

БЛЕФ / Н. И. Левченко — «Автор», 2017

В сознании главного героя, который оказался в психиатрической лечебнице, действие романа происходит повсеместно, в разных временных координатах, порою даже вспять, вне времени... Эта книга о тех больших и маленьких проблемах, с которыми, так или иначе, сталкивается каждый, об утрате целостности собственного «Я», неоднозначной многомерности сознания, противоречивых поисках себя и обретении внутренней гармонии. Она о том, чего всегда волнует человеческую душу, – о жертвенной любви и страсти.

© Левченко Н. И., 2017

© Автор, 2017

Содержание

Пролог	5
I. Анжела	11
II. Разбег	23
III. Крещендо	31
IV. Елена	41
V. В облаках	50
VI. Перемещения	60
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Николай Левченко

БЛЕФ

Пролог

С вечера на Дятловых холмах не каждый мог сказать, будет ли опять восход, взойдет ли его светоносный трон в своем немеркнущем великолепии на том же месте. Стоило все-ррез заговорить об этом, замирали; одни, раскачиваясь с пяток на носки, глядели выбритыми лбами в потолок, будто бы выискивали недобелы или пауков, то гоготали, то буровили чего-то, точно черных волчьих ягод или белены объелись (которых, правда, было вдоволь здесь). Другие, видимо чуравшиеся первых, сплевывали только, когда их допекали, и отмахивались. О моровом поветрии, когда-то занесенном коробейниками, многие имели представление: спорили до хрипоты, стучали кулаками по столу и через слово с пеной на губах всё поминали Навь, когда играли в домино. А о перемене дня и ночи отродясь не слыхивали. Определенного порядка в этом не было, а ровно так уж повелось. И впрямь, с какого боку ни зайди, нехороша была ни истинная ложь, ни форменная правда. Случалось, – исстари еще, когда по заводям и засекам зело обильно было, – шнырявшая весь день по подворотням мелюзга ватажная подскочит и прицепится, друг перед другом задирая нос. Им сразу выложь да положь. Себя жалели, вот и навывдумывали всякое. Говаривали, что сын Сварога, супруг Зари-Заревницы, бог солнца Хорс, будучи еще подростком, как-то проходил недалеко от этих мест. Увидел Дятловы холмы с корявыми осинами, да бородавчатые точно мухоморы пни, да тучи жлобствующего комарья у обвалившихся, поросших чередой да двухаршинной чемерицей берегов. И отвернулся. (Зачем он тут пошел, неведомо, да так уж вышло). Эдак и другие из его же роду-племени напрочно здесь тоже не задерживались, хотя, гласит лукавая молва, ни доморощенных осин, ни пней в округе уже не было. Большим богам, известно, требуем морской простор, а те, что вышли мельче статью, якобы пришлось не по душе самим аборигенам. Такая была сложена упрямыми людьми легенда. Поэтому вставай, когда еще ни зги не видно, – крадись между кроватью и стеной где с Божьей помощью, где наугад, садись на колченогий табурет перед окном, покрытым коркой инея с проделанным глазком. И жди, творя молитву: *авось, быть может, как бы* и так далее.

Навеянный былинным эпосом, такой пролог крутился в голове в её вялотекущей экзистенции, пока еще летело время, производя, как полагается, свои замысловатые узоры на стекле. Куда оно летело? и что оно такое, это Время? Теорема. Быть может, предикатом этой теоремы, её логическим сказуемым он сам и стал с тех пор, как оказался здесь? Опять наедине с Тобой, любимая, и со своими неприкаянными мыслями, как в первый раз встречающий зарю. «Зачем?» – наверное, вы спросите. Ну, может, для того чтоб помнили себя, не полагались на красоты и об окружающих явлениях не забывали. «И на хрена сдалось тебе всё это?» – доходчиво, хотя не так высокопарно выражался Розовый. Но это был уже другой вопрос.

«Солнечный диск, о Ты, живой всевратный! нет другого кроме Тебя! лучами своими Ты делаешь здоровыми глаза, творец всех существ. Восходишь ли Ты в восточном световом кругу, чтобы изливать жизнь всему, что сотворил: людям, четвероногим, птицам и всем родам червей на земле; то они смотрят на Тебя и засыпают, когда Ты заходишь!»

Постукивая систрами в такт пению, без своего венца и ожерелья, в бесхитростном оборчатом виссоне, ниспадавшем с плеч, его жена, царица Нефр-эт сидела у кормы ладьи, веретеном скользившей в паводковых, хмурых в эту пору водах Хапи. Янтарная гроздь винограда, финики на блюде из эбенового дерева и амфора с гранатовым вином потока Западного были

перед ней; в глазах, приспущенных к воде, была смиренная надежда, воспоминание о счастье, прожитом безмятежно времени и тихая печаль. Дымок смолистых благовоний из смеси кедра, ладана и кипариса то вился как замороженный у ее груди, то, маловерный, разбивался на коленца, едва лишь песня затихала, привольно уносился, тая над волнами. И крапчатые шкуры Кошских леопардов под ее стопами, кассией и миррой умощенных, щедро устилали днище. У носа барки с реющей над низкой палубой эмблемой Солнца, как впередсмотрящий Уп-Уаут, что отверзал пути, слабо вырисовывался контур павиана с поднятым хвостом, по описаниям обычно – с глупой удлиненной мордой. Хотя с восходом его обезьянью честь охватывал такой восторг, что он горазд был подскочить и разразиться радостными воплями. Но вот и он пропал. Звон систров смолк; всё заволок стелящийся над непроглядной поймой западного берега туман. И барка, заворачиваясь точно в саван, уплывала.

Припоминая это, он снова погрузился в сумерки минувшего, когда провозгласил Диск солнца единосущной правдой жизни. Чего б ни говорили после, он долго шел к осуществлению того и, только его час настал, все выполнил, как представлял это себе, не отступая от предначертания, ни на один дебен не прибавляя и не умаляя. Верный своему воззванию, он приказал изъять из росписей на стелах и со стен гробниц, сооружавшихся придворной ратью и вельможами, а также в величании из собственного картуша упоминание о прежних божествах, решив оставить для народа только титул Рэ, своей могучей огненной десницей объединяющего обе земли: как прародителя вселенной. За эту вольность властолюбивая знать Нэ (издревле с Нэ враждовавшие, северные – Он и Мэнфе были ещё двоедушно преданы ему) келейно отвернулась от него, назвав в своих сердцах богоотступником, и предала потом навеки вечные анафеме. Видя это, он порвал все узы с супротивным Нэ. И повелел построить на ничьей земле, на полпути от Нэ до Дельты новую столицу – солнечный Ахйот. Все те, кто был послушен царскому призыву и светел в своих помыслах, ни дня не медлили, работой не гнушались. С севера и юга слаженно и споро возведенный город подковой окружали горы, скалистые вершины с флангов понижаясь у реки. И над величавыми холмами, над плодоносящей, ширящейся вдаль долиной, не омраченный жреческими лестью и коварством, становился День.

– Я – Эх-не-йот, – сказал он, – дух Йота, Отца и Сына, Солнца! Да будет моя клятва нерушима, как не уйдет в небытие и этот город: он сотворил свои пределы сам. И он не будет стерт, не будет смыт, не будет срублен, не пропадет вовеки, и не дадут ему исчезнуть. Но если же он все-таки исчезнет, если рухнет стела, на которой он изображен, я возобновлю его на том же месте!

Врач краем уха слушал и между делом наблюдал, как по столу ползет, едва перебирая членистыми лапками, готовая впасть в спячку муха. Достигнув пепельницы в виде башмака, похожего на те, в каких ходили допрежь подмастерья, она присела на брюшко и стала тыкать в рантик чебота своим овальным рыльцем с полым хоботком. Тот показался ей заманчивым, она попробовала влезть повыше, но не удержалась на окатистой глазури, сорвалась и, утомившись, стала потирать слипавшиеся крылья.

Тому, кто вел прием, не нравились конвульсии диптеры, он был расстроен результатами двух предыдущих медосмотров, в которых ему виделось черт знает что и плюс врачебная халатность. Этот странноватый пациент достался ему как нарочно сразу после отпуска. А тот прошел почти без дыхания среди хлопот по обустройству ипотечного коттеджа. (*Фазенда* с клумбами, так это уж – для эстетических утех жены, *praedium silvestre* – для коллег, для самого себя, так – прорва!) Муха была ни при чем, тем более хотелось пришибить ее. Но он не знал, как это лучше сделать: боялся опрокинуть на пол пепельницу – не весть, какой предмет, а все же памятный по образу свободной и мятушейся студенческой поры, когда он по нелепице женился. Да и потом, уже проделав экзекуцию в своем уме, он думал, что в глазах сестры такой поступок будет выглядеть нелестно. Как нехотя он оторвал свой взгляд за стеклами очков от насекомого.

– А что, Дух Йота – тоже ваше имя?

Имя было сущим наказанием, когда и где бы ни звучало. Так что приходилось быть готовым к трену недопонимания, вновь всё уточнять и растолковывать. Но в каверзном вопросе доктора был вроде бы не только профессиональный интерес.

– И, да и нет. Дух Йота это – таинство, как отражение Отца присущее ему.

Для убедительности он показал в решетчатый проем с раздернутыми штапельными шторками, где пламенел лучистый ореол:



То были и Отец и Сын. Само светило было древним, но каждый день, являясь в этот мир, оно преображалось, и, оставаясь прежним...

– Возможно, бредовая компенсация, конфабуляция? Есть признаки конверсии, речь малопродуктивна, хотя устойчивых симптомов нет.

Сидевший в кресле человек, лет сорока пяти, с овражками залысин в виде буквы пси, и плотного сложения, – широкое южно-азиатское лицо, словно по нему проехали ручным асфальтовым катком, на треть за дымчатыми стёклами (еще одна уловка!), с алтынным йодистым лентиго на щеке, – наморщив лоб, через очки взглянул на медсестру, убористо строчившую анамнез:

– Заметьте, он приводит онимы на греческом или на коптском, которого тогда в помине не было. Помилуйте, откуда что взялось? Как ни крути, а полтора тысячелетия, для восемнадцатой династии анахронизм. И с тамошним произношением беда. Подумать только, как они почти без гласных обходились! Попробуйте без них произнести чего-нибудь? Прошу простить, язык ломаете. Бессмертие души, насколько понимаю, бескрайний внутренний простор. *Ad infinitum*. Вот и всё. А имя – Нефертити, знаете? *Прекрасная пришла*. Хотя с их точки зрения, я думаю, неправомерно. Когда нет времени, то можно ли сказать *пришла*, тем более о красоте? Нет, красота – *идет*, она у них вне прошлого, всё в настоящем.

Закончив предыдущую строку, сестра остановила своё стило над бумагой. Она пыталась угадать, чем кончится ученая тирада, и ощущала взгляд начальства, который до печенок пробирал ее. По слухам, доходившим до нее со времени ее летальных отношений с местным ординатором, она была «пока свободна» для культурного общения (ну, чтобы не сказать уж, что имели в виду, прямо). Причем была еще такой наружности, стоило б отметить, что в ратном окружении психиатрических светил скучать по-всякому не приходилось.

Думая о красоте, врачебный палец распрямился над столом и описал в горизонтальной плоскости петлю.

– Помилуйте, а что сейчас? Чего нам дал латинский мир с его плутократическим язычеством, и даже христианство? *Memento, quia pulvis*: помни, что ты прах! Да. А что-то всё-таки немодно, как я посмотрю. Аменхотепов с этой симптоматикой за полугодие ни разу не бывало!

– *Akhenaton*, – поправил он. – *Уа'нрэ Н'фрхеп'рурэ*. Как вам угодно.

Но врач смотрел на медсестру: как школьник, брякнувший чего-то у доски. Видимо, когда-то был отличником.

Сестра стесненно улыбнулась. Ее свободная рука в отглаженном и стянутом в запястье рукаве, как подчинившись внутреннему импульсу, легла на стопку аккуратно сложенных бумаг, поправила клееный фалыц, – помедлив, поднялась и прикоснулась к лацкану халата на груди. Своими скрещенными пальцами, на безымянном – перстень с уреем, символизирующий власть, она как подавала ему знак. Затем, из-под сведенных к переносице бровей взглянула. Узнала или нет?

На всякий случай он тоже улыбнулся ей. В ее чертах (значение *сестра*, как воспринималось это и рехит и немху в ту эпоху, в его душе не отделялось от – *любимая*) соединялись чувственные губы, и в складках рта была как вынужденная кротость. Это создавало в её облике полную противоположность той снисходящей неприступности, которой покоряла Нефр-эт. Сидевшая напротив напоминала ему Кийа, его вторую верную...

– Еще одну или вторую, *верную*? Первая, чего, вам изменяла?

Кийа-медсестра опять пытливо посмотрела. У *него* была худая шея, заметно выдававшая скулы, яйцеобразно вытянутый череп, который должен был бы придавать ему в глазах простонародья признаки богоподобия, и тощие лодыжки. В конце концов, мелькнуло в голове, они могли не полениться, через какой-нибудь портал проверить это.

Пока сестра возилась со своими записями, врач вынул из халата зажигалку, пачку с чахлым дромедаром на картинке, вздохнул и положил перед собой на край стола.

– Так вы женаты, как я понимаю: жена, наложница, стало быть, и дети есть. А здесь как оказались? Чего-то уж, голубчик мой, далековато от Египта!

Он взял оправленный в латунь цилиндрик зажигалки, высек пламя и стал водить туда-сюда перед лицом, следя за взглядом пациента сквозь свои очки... Ну, прямо фокусник с восточного базара. Так уж, заодно исследуя реакцию.

Ослабленная муха около него тем временем переборола страх разбиться и делала отважные попытки покорить вершину. Похоже, ее чем-то соблазняла дырка сбоку башмака для сигарет, но ей не удавалось докарабкаться до прорези, она перебирала двумя лапками, цеплялась за отвесную кофейно-белую глазурь, но, обессиленная, не удерживалась, падала. Затем, наверное, решив вернуться сюда в следующей жизни, жужжа, замельтешила пластинчатыми крыльями с прожилками и улетела.

Прервав свои манипуляции, врач вместе с креслом градусов на тридцать развернулся в том же направлении, как бы говоря объекту раздражения *adieu*. Лысеющим виском он посмотрел на медсестру и произнес в уме еще одно короткое напутствие, уже не на французском. Выполнив предсмертную глиссаду перед подоконником, муха села на стекло за шторкой, еще раз прожужжала там в агонии и вероятно испустила дух. Глядя на окно с почившим насекомым, врач произвел туше подушечками пальцев по столу и ухмыльнулся. Не оборачиваясь, он снял очки и стал их протирать о край халата.

– К тому же слабость конвергенции, по-моему. Вы сами-то там не были? Черная земля: *Кемет*, как будто. Еще они зовут ее любимая: *Та-Мери*. Подбитый то ли мамлюками, то ли от эрозии такой, как прокаженный Сфинкс без носа. И желтоватый Нил, усеянный фелюгами: *река*. Или вот Абу-Симбел в скале, потом Карнак с его известняковыми пилонами. Гигантомания, я вам скажу. А нынешней архитектуре, между прочим, нечета. Не торопились жить, чего уж там: жевали свой инжир перед отъездом, так, чтобы память освежить, запомнить вкус и погода вернуться. Запамятовал, как они его там называют. Да фи́га, или смоква, всё одно...

Закуривая, он бросил осторожный взгляд на пепельницу, как будто не уверен был, что муха улетела.

– В отпуске-то не были еще? куда-нибудь уже наметили? Жаль, жаль! У них там вроде ничего не изменилось, все те же басенки про ибисов и фениксов. Что-что? – взглянув на разлинованное в клетку небо за окном, он щелкнул зажигалкой возле губ с зажатой сигаретой. – А, так вы об этом слышали? Ну да, век новых технологий, я забыл. Хотя, вы знаете, про все такие чудеса у Геродота еще есть. И то, куда спешить, когда ни времени, ни смерти в нашем смысле. *Memento, quia pulvis! Memento, quia...* Вы понимаете? И хоть бы что! Пиво и котов любили.

Окладистый клуб дыма разошелся над столом с придавленной перекидным календарем запиской – «занять в аванс у Остермана». Нет ничего, чего бы раньше не было! Всё было будто видено уже однажды: *многое в немногом*, как вероятно мог бы выразиться врач в своей манере

на латыни. Дым был ароматным и насыщенным; закручиваясь гриной, он влился по трахее в легкие сестры.

«*Самоуверенный говнюк!*» – подумала она.

Зачем-то снова вспомнив о своей жене, на пару дней уехавшей к своим родителям, и о пустующем коттедже, врач перехватил ее отточено-любезный взгляд.

– Расстройство идентичности, я полагаю. Можно указать аббревиатуру только – ДРИ. Ну, может... А кто его осматривал?

Он взял у медсестры историю болезни и начал торопливо перелистывать, хмыкая и бормоча чего-то. Как это характерно для людей самонадеянных и педантичных, он был убит служебным беспорядком. Пальцы его двигались по строчкам четырех – где четко, где неряшливо исписанных листов до самого конца и из конца опять в начало.

– *Quid? Ubi? Quando? Nec hoc nec illud!*¹ Как я и думал, мда.

Что ни говори, все люди жаждут, если уж не правды, так хоть утешения. В многообразных обстоятельствах того, как он сюда попал, не для кого давно уж не было секрета и, тем не менее, рискуя выглядеть невежей, пришлось напомнить о себе.

Его любимая дочь Анхнес, как ласково он называл её, вышла замуж за тщедушного юнца, в котором, уверяли, тоже была его кровь. Причем брак был не столько по взаимному влечению, коли судить по недостаточному возрасту того, – и неудачен. Недруги тем временем не спали. С подачи ловких царедворцев преемники по скудоумию искоренили всё, что относилось к новому призыву и водворили прежние порядки. Светлая столица, солнечный Ахйот, осиротев, пришла в упадок: была дана на поругание, как брошенная житница без жита скоро вымерла; живая и благоуханная, гнетуще опустела. Но верные – остались. Поэтому, когда в его последнюю опочивальню в стольном граде ворвались враги, то гроба не нашли. С великой злобой, не делавшей им чести, они перекрошили всё в его заупокойном храме, и мелкие осколки люто раскидали по глухим ущельям, как обходились в пору лихолетий с отщепенцами. Друзья же этим временем перевозили его тайно на ослах, укрыв на дрогах грудой ветоши от праздных взоров. Дорога была долгой, а дрожки оказались шаткими. За прожитую жизнь он никогда еще такого не испытывал, лежал в гробу и содрогался... Затем его похоронили здесь, на левом берегу красы-реки, в ее долине, тогда еще не загазованной, привольной: напротив своенравных Нэ.

– Занятная история!

Врач сунул недокуренную сигарету в пепельницу и что-то записал в перекидном календаре.

– Стало быть, вас как бы нет? А что родители? Вы хорошо их помните? Вы так и не ответили: кого любили больше – мать или отца?

В анкете это было слабым местом: мать его, Тэйе, не принадлежала к царскому дому, жрецам и знати это было не по нраву, сразу же восстановило против. Имя же отца, которое отождествлялось у простолюдинов с многобожием, чтобы не прослыть в глазах их непоследовательным, он тоже должен был стереть со стел.

Сестра не отрывалась от письма, слушала уж как по долгу службы только.

– У вас всегда такая интересная манера изъясняться? Мы с вами как-то виделись, припоминаете? И почему вы говорите о себе в третьем лице?

Она спросила это будто бы из любопытства, походя и невнимательно, как это произносят женщины, когда чего-нибудь готовят или вяжут. Ее опущенные долу веки с вайдовой каемкой укрывали взгляд. Захочешь что-то выведать, промажешь, как пальцем в небо попадешь; и ни к чему не придерешься. Или уж вела себя так осмотрительно, чтобы не вызвать подозрений, хотела уберечь от будущих мытарств, давала знать, чтоб он не сильно обольщался?

¹ Что? Где? Когда? Ни то ни сё (лат.)

Он думал, что сказать. Дружбы между ними ещё не было, хотя и после дружбой это трудно было бы назвать: смотря к чему, конечно, это прилагать и как использовать. Стоило ему к ней обратиться внутренне, только лишь представить ее рядом, как она оказывалась тут же с ручкой и своим блокнотом.

«Хоть что-нибудь ещё вы помните? Ну, может быть, не сами вы, а эти ваши *Ka* и *Ba*?»

Она произносила «эти ваши» без тени лицемерия, совсем не так, как это делали другие. Затем присаживалась рядышком на табурет. И если он был слаб, для бодрости давала что-то выпить... Подыгрывая ей, он был уверен, что находится в *Пер-хаи* – «доме ликования», где проводились празднества Тридцатилетия и на большом пиру, законам царства воздавая похвалу, все были равно праведны в своих сердцах и безмятежны. Потом, когда стены не стало, они читали вместе её записи. Им было всё равно уже, Пер-хаи это или нет. Они не сожалели ни о чем: того, что окружало, больше не было. Надеясь, что расстались с самой малостью, они не чаяли иного: не ведая забот и времени, вели себя почти как дети. Никто не смог бы им тут воспрепятствовать, поскольку тех, кто мог бы, тоже не было. И каждый день рождались будто заново. И делали всё то, что раньше не могли.

I. Анжела

В том, чего мы, часто неуместно, называем прошлым, жизнь распорядилась так, что свой рассказ он вынужден начать с самой вдохновенной стороны. Судьбе угодно было сделать так, что это стало первой мрачной вехой, тем роковым жестоким испытанием, мысль о котором никогда не меркнет и не покидает... Но это было точно гласом свыше, неким прорицанием, такой трагический исход был, очевидно, предreshен. Приглядываясь к жизни, со временем он напрочь разучился верить в совпадения: в тенетах Провидения, когда оно ниспосылает беды, есть, вероятно, свой расчет – заставить призадуматься. Естественно, бывают ситуации, когда мы все же думаем о чем-то, ну, или полагаем, что так есть. И все-таки до уготованного срока мы заняты обычно чем-нибудь другим, торопимся *успеть*, увидеть и схватить всё сразу, причем, вполне не сознавая даже, надо ли все это нам и почему.

Весть об отце он получил с сомнительной задержкой на задымленном, изрытом танками и бравой, эскарпом окопавшейся пехотой полигоне, где-то между Львовом и Житомиром: кому-то это, может, интересно. Топографически пункт выброски десанта был обозначен крестиком с приколотым флажком на карте. Запущенный от фала вытяжной, стабилизирующей части и вытянутый вслед за стропами из расчехленного клапана на ранце, купол за спиной раскрылся моментально. Ну, если уж на сленге, так – с резвостью сорвавшейся с цепи собаки, а это как кишки наружу, по выражению Шалапина. Не к месту будь помянут, тот был большой мастак на всякие страшилки и каждый раз, припоминая предысторию своей контузии, чего-нибудь для увлекательности добавлял в нее. Не верящий в приметы разгильдяй, теперь он стал божиться, глядя в небо, и все его, развесив уши, слушали; но чего так, а что не так в его речениях, конечно, не узнаешь. При конвульсивной мысли о Шалапине под фюзеляжем удалявшейся брюхатой «Аннушки» его чувствительно потрянуло. Да нет, всё выходило ладно, без проколов, по инструкции. Давно уже не новичок, он сам укладывал свою экипировку и был привычен к динамическим рывкам, но почему-то обратил внимание на *этом*. Спустя мгновение архангелом паря к земле на лямках парашюта, еще не зная, что его там ждет, и не без сердечного сарказма поминая тугоухого Шалапина, он все-таки успел полюбоваться голубоватым маревом черемухи и зацветающих диких слив вокруг.

В свое Иваново, что для кого-то было к «северо-востоку от Москвы» и, таким образом, всего одной из многих точек на планшете, он прибыл лишь на следующее утро на проходящем грузопассажирском тихоходе. Да и, не столько сокрушаясь, оттого что опоздал (замешкавшаяся где-то похоронка была отправлена за пару дней до этого), но с беспокойством думая о том, какой застанет мать. Он, как и раньше, видел её без отца, одну. Её лицо хранилось в памяти как нестарееющее фото из семейного альбома, когда ей не было еще и тридцати. Её подстриженные под косую челку, русые, заколотые сзади гребнем в виде лепестков ромашки волосы, не знавшие уныния, все примечавшие глаза и как стыдившаяся за себя улыбка, в которой от прабабушки был аромат кавказского очарования. Какими красками все это описать? В нем оживал волшебный мир с обвязанными лентами от пастилы воздушными шарами, особо как-то пахнущими елками на Рождество и куличами. На Пасху, когда она бывала по апрельскому морозцу ранней, со всей округи к ним стекался всякий разночинно-беспризорный люд. И у чилисника натоленной голландки, к которой прислонялись все, отогревая спины в своих мешкообразных *куколях* и *армяках* (так почему-то называл отец их подпоясанные толстыми ремнями одеяния, как у монахов-францисканцев на картине), попахивало сыромятной кожей, с парами славословий выходила тминная настойка; и в доме становилось тесновато, празднично и жарко. Сколько бы с тех пор не проходило лет, но это оставалось неделимой частью его памяти, не иссякающей недоразгаданной сокровищницей детства. Еще его сознание вмещало коллекцию скелетов

ящериц, червеобразные экзувии стрекоз, элитры носорогов, листоедов и других жуков, найденных им, разумеется, «самостоятельно», по энтомологическому атласу. Потом, еще – пронумерованные и материнским ровным почерком подписанные на латыни великолепные гербарии тех полевых цветов и трав, которые они любили собирать, гуляя вместе за ручьем по лугу. Когда ему еще не минуло шести, он помнил, как мать учила его пересказывать и рисовать, чего он видел днем, и что ему хотелось бы изобразить по памяти. И он старательно вычерчивал в тетради овальные или квадратные фигуры с вывернутыми в стороны, как кочерги, ногами и разноцветные круги, которые они несли, держа за ниточки, над задранными к небу головами. Таков был этот мир, творимый ее неусыпным бдением, в любой момент доступный восприятию, не знающий границ и вместе с тем разумно-сокровенный. Он должным образом ещё и не родился, но всеми порами души уже боготворил её.

Когда он приближался, она всегда смотрела на него в подзор горевших как подсолнухи наличников, переходя от одного окна к другому, сквозь поражающий детское воображение, бахромчатый волнистый тюль. Заметив еще издали его подтянутую ладную фигуру, она склоняла голову; сдерживая радость на лице, щепотью крестилась механически, как делала когда-то её мать. Затем, уже несуетливо, шла к порогу. (Хотя он и не видел ее в тот момент, но сердцем знал, что так и было).

– Мужайся, дорогой!..

Шёлковый витой шнурок с обрезанной петлей на ржавом костыле и как улика тоже конфискованной дознанием еще висел у вытяжки на чердаке.

Отца похоронили накануне, в закрытом заколоченном гробу, из-за какой-то якобы бюрократической накладки, минуя дом, доставленном на кладбище в карете скорой помощи из морга. (Автомобиль по описаниям был тоже подозрительным, с крохотным замызганным окном на крытом кузове-буханке и розовато-серый, как перекрашенный тюремный воронок). В материалах следственного дела с небрежно вымаранными строчками, которое он разыскал потом, «причины суицида» так и остались за семью печатями. Пытаясь попусту не прикасаться к прошлому, с матерью они тогда не говорили много. Но и со временем, когда он пробовал хоть что-то разузнать, та неохотно возвращалась к этой теме. Подвергнутый самоцензуре, скомканный рассказ ее в одном и том же месте обрывался. Щадя его, она чего-то выпускала, неловко отводила взгляд и переводила разговор в другое русло. Он никогда не упрекал ее за эту сдержанность. А в главном было так.

В конце сороковых, тогда еще беспечные молодожены, которых развела до этого война, его родители, без памяти любившие друг в друга, преподавали в старших классах школы. Возможно, пылкая открытая любовь двух молодых учителей кому-нибудь, кто потерял на фронте своих близких, резала глаза. Излишне своевольного отца, историка, однажды упрекнули в том, что на своих уроках он пренебрегает «ролью личности». Во всём чистосердечная, мать придерживалась строгих убеждений, ее все знали по городской Доске почета, она была примером и для своих коллег и для учеников. Невольно хмуря брови, она выдерживала в этом месте паузу и не желала говорить, что он ответил. Бывший учитель-латыш, сын красного латышского стрелка и обрусевшей польской гувернантки, слепым произволением избег ГУЛага. Наверно это к делу не относится, но на сохранившемся любительском портрете, висевшем у каминной полки на стене, бабушка, отлично знавшая по Киевской гимназии приударявшего за ней и ставшего потом наркомом – *Толю Луначарского*, была совсем не «пролетарской»: в завязанном подбородком несерьезном капоре и с томиком Ларошфуко, верхом на рысаке. Случай, как это ни жутко прозвучит, был и рядовым и в своем роде исключительным: по городу тогда прошла волна арестов, но из четверых своих сокамерников, которых задержали по аналогичным обвинениям, отец как будто уцелел один. Избитый и подавленный, как воротился, не сразу обнаружил он, что нет уже в квартире приобретенного ко дню помолвки на толчке ковра и двух картин – *a la Monet*, приданого жены.

«Мне, кто учил детей правде, не поверили! я лжец!»

Жалея мать, он не говорил о том, что пережил, так и держал в себе до самой смерти; но эта мысль – «я лжец» – впоследствии, когда, оставшись не у дел, он запил, стала у него навязчивой. Лишенный фронтовых наград, уволенный из школы, устроиться по профилю образования он никуда не мог. Тогда он и пошел на эту фабрику: делать канцелярские столы ему ещё дозволялось.

Распространявшие махорочный и костный клееварочный дурман цеха стояли тут же, на краю оврага, за дворами. В многоэтажных новостройках, все ближе франтоватым частоколом подступающих сюда, район считался дошлым, слободским. Доставшийся от никогда не жившего здесь деда и достроенный, дом был на зеленой тихой улице, которая своим прижимистым укладом бывшего села, пасущимися на лужайках у крылечек курами и гусаками и ослабляющим у чужаков внимание безлюдьем днем все еще претендовала на окраину. Отца коробило от гвалтом доносившихся с задворков склок и бражной матерщины. Чтобы не слышать брань, он, морщась, прикрывал окно, переходил во внутреннюю комнату, снимал со стеллажа какую-нибудь книгу и листал. Когда он заливал свою беду, то даже если его что-то раздражало, никогда не сквернословил; при этом сам, хотя и пил запоями, мастеровым такой порок простить не мог.

«Никогда не пей! И ни на кого не кричи. Если неуверен в себе, уходи первым. И никому не верь! Помни, чем ты лучше, тем хуже тебе».

Статиков разинув рот глядел на своего отца, который, видно, был не в духе. У взрослых так бывает, когда они чего-то говорят и надо, чтобы их выслушивали. Тут, к счастью, появилась мать и уводила его от греха подальше. Таких сцен было много, и это он уже отчетливо помнил.

Спустя неделю, так толком ничего не разузнав, с творожными лепешками и пирогами в узелке он уходил из дома. Когда он шел тропинкой от крыльца, мать с непокрытой головой стояла у ворот под затянувшей небо летней изморосью. И рядом, будто тоже поседевшая, ветла с качелями. Уже зайдя за поворот, в болтавшихся пустых качелях он неожиданно увидел самого себя.

Гвардейский полк, в котором он служил, был расположен сразу же за кольцевой, у белоствольной кучерявой рощицы. Привольно яркая и стройная как на рисованных пейзажах, она встречала всех разлапистым, широколистым явором, стоявшим как швейцар перед обочиной: приметный за версту от поворота, тот в разных поколениях служил, наверное, как маяком для горожан. Вначале лета и поближе к осени здесь было особенно нарядно. С дозорных вышек, которые стояли по периметру тонувшего в листве армейского укрепрайона, топтавшимся там караульным с карабинами через плечо в рожок биноклярного устройства было видно расцветенные скатертями-самобранками лужайки, где стар и млад играли в догонялки, тенистые пристанища уединенных парочек и возле них – прочесывавших палками растительный покров неврастенических настырных грибников. Незрелый несознательный призыв на это драматическое зрелище не допускали. Из центра города сюда ходил раскрашенный рекламой цирка шапито, как африканский какаду, трамвай. Тренькая, вагон катил по оживленным улицам с той холерической беспечностью, которая сейчас лишь раздражала. Лакейское прилипчивое ханжество как нестроение в поступках и словах им ощущались с детства. Едва ли этот общечеловеческий порок впрямую можно приписать какой-нибудь бытующей фатальности или увязать с единоличным культом, – думал он, – чего теперь уже как обанкротившийся тотем порицали. Люди, разумеется, вели себя как люди, случалось, что немного лицемерили, пока их лично что-то не касалось и иногда, хотя бы с горьким опозданием, не отрезвляло. При изощренной склонности попутно вымещать всё на других под видом лстивой справедливости или упорства, он был почти таким же и роптал. Униженный, он будто оказался узником в капитулировавшей башне,

в несокрушимости которой был уверен. По правде говоря, он недолюбливал отца, застав того уже лишенным обаяния и слабым, к тому же незаслуженно ревнуя его к матери; но оттого, что знал, душа кипела.

С соседней стороны от рощи напротив части был заросший шляхетский погост: бурая стена из кирпича, вся в трещинах, навеивая грусть и контрмаршем оглашаясь строевыми песнями, уступами тянулась за колючкой плаца к балке с перелеском. По выходным плац отдыхал; из-за откинутой фрамуги на углу казармы, где под водительством скаредного Шаляпина была солдатская каптерка, занудно доносился шлягер про малиновку... Хотя лицо Шаляпина имело с детства шрам на хрящеватой переносице, и от глубокого недружелюбия к нему природы как будто было вырублено с помощью тупого тесака или слесарного зубила, он вовсе не был тем разудалым смельчаком, каким его теперь считали в гарнизоне. До своего геройского ранения он слыл таким, о поведении которых часто говорят «свой в доску» и «рубаха-парень». На стрельбищах его контузило: он был легонько ранен в ногу и стал наполовину тугоух. Его слух должен был восстановиться, как ему при выписке сказали в госпитале, поскольку слуховой нерв не задет. Но он был круглым сиротой, из Витебского интерната, комиссоваться ни в какую не хотел. Он был простосердечен, но не лох: как следует, подмаслил старшину, который скоро увольнялся; затем состряпал рапорт генералу и стал заведовать складским хозяйством.

Шлягер был ритмичным, жизнеутверждающим: все знали, что Шаляпину необходимо разрабатывать свой слух, никто его за это не бранил. Томный женский голос повторял припев: «*Fly robin, fly!*» И те, что проходили мимо, думая о предстоящем дембеле, пренебрежительно заткнув большие пальцы рук за выпуклую медь ремней на гимнастерках, ломали шаг и подпевали, перефразируя на свой манер:

– *Линяй, родимая, линяй!*

Щербатая, в густой акации и зарослях орешника стена перед нашествием любовных парочек дремала.

В одно из увольнений ноги привели его сюда. Напропалую наугад бредя по кладбищу и вроде бы ища чего-то, причину этого он пробовал расшифровать, хотя едва ли полностью осознавал тогда. В своей просроченной любви, мы зачастую ворошим могилы близких, тревожим их покой, порой, физически, не только в своих мыслях. Тоска ли движет нами? зависть? или разочарование? Невнятно думая об этом, по исчезающей в ольшанике тропе он брел вдоль высеченных барельефов и голгоф с рыжевшей оторочкой мха у оснований; скользя по дерну буцами, заглядывал за отвороченные плиты склепов. Наверно, как он понял погода, в этом его лазанье по старому погосту сказывался еще зуд возрастного удальства и любопытства: заглядывая в ямы, служившие могилами когда-то, он сам не знал, чего искал. В промозглой тьме повсюду были накренившиеся или провалившиеся ярусы из досок и догнивающий под ними смрадный хлам. Случайно или нет, он опоздал на похороны? Откуда взялся этот воронок с угрюмо вылезшими из него людьми? чей труп в нем привезли? То ли уж патологоанатомы отца так изувечили? или уж понадобилось что-то скрыть и гроб, поэтому заколотили? Чего бы он предпринял, если бы не опоздал и оказался рядом? Допустим, он сумел бы настоять на том, чтоб крышку с кумачовым верхом сняли. Но что бы ни увидел он, чего бы это изменило? И мать бы не перенесла того, такое зрелище могло совсем убить ее, тем более, если бы все то, о чем он думал, оказалось правдой. С досадой возвращаясь в мыслях к тому дню, когда ему вручили похоронку, терзаясь от сомнений и сам уже расценивая гнет в душе как Божью кару, он переживал из-за того, что так и не сумел проститься с тем, кто был ему, на самом деле, очень дорог. Погибшего отца он с полудетской нетерпимостью корил, хотя в душе и понимал, что это отношение несправедливо. Отец был дорог ему тем, что дал, возможно, что, не ведая о том и сам, духовно. Что значат перед этой связью жуткая насильственная смерть и молотки привычных ко всему гробовщиков? Живые или многое прощают или же не замечают в своих близких

то, за что становятся потом перед собой в долгу, как в неоплаченном ответе; казнят себя и безотчетно платят мертвым дань. И можно расстаться с тем, чего срослось с тобой духовно?

Придерживаясь левой стороны, чтоб снова выйти к той же выемке в стене, через которую пролез, он пробирался меж могил, уж больше не заглядывая в склепы. Наверное, он не прошел еще и половины мысленного круга, когда почувствовал, что в восприятии его чего-то изменилось. Как проявление своей охранной самости, которую тогда еще неясно различал, не ведал её полной значимости, в тот раз он это испытал впервые. Суровое лицо отца, каким он никогда того не знал, – как лик ветхозаветного Егвы со всех сторон, как бы напутствуя, глядело. И этот, созданный его ослабшим духом образ – вырuchал, вновь наполнял решимостью и силой.

Раздумывая, ни повернуть ли сразу же обратно, сквозь занавесь плакучей ивы метрах в четырех-пяти между могил он заметил женскую фигуру. Кладбище тут опускалось к балке, и на склоненных до земли ветвях была медвяная роса. Возможность встретить здесь кого-нибудь была такой ничтожно малой, что он с захолонувшим сердцем замер посреди тропы. Рядом было повалившееся высохшее дерево, из-за трухлявого ствола которого, в покрытых паутиной зарослях подальше, как через щель в замочной скважине смотрел оплывшим глазом чей-то барельеф. Бывшие в том направлении захоронения проглатывала чаща. Если приглядеться, ее края очерчивались толстыми раздвоенными сучьями с поеденной корой, в которых было что-то не от мира, колдовское или из таинственных былин. Время как остановилось, он хорошо запомнил ту минуту. До слуха донеслось, как где-то с хрустом обломилась и упала, шаркая по листьям, ветка; трель соловья, которая немного скрашивала запустение вокруг, оборвалась и в отдалении лишь перекрикивались скриплым *рэкающим* звуком сойки. Могила перед ивой и ольхой с еще не потемневшими сережками была цветущим островком среди разросшейся крапивы и бурьяна. Шагнув поближе, он раздвинул липкие метелки.

Вьющиеся волосы скрывали плечи девушки. Она настолько была занята своими мыслями, что не услышала его шагов, как изваяние, с руками сжатыми в замок сидела на траве. У валуна-надгробия среди разложенных тюльпанов лампадкой теплился перед киотом огонек. Это был свечи огарок: на деревянном, с потоком воска кругляше, та вся почти уже растаяла и догорала. Хотя он сдерживал дыхание и подошел к могиле осторожно, но ровно бы от поднятого им ветерка остренькое пламя всколыхнулось, пыхнуло дымком и сжалось на увечном жгутике в горошину. Девушка прикрыла фитилёк ладонью, под пробивавшимся через ольху лучом блеснуло бирюзой кольцо. Нагнувшись, она что-то прошептала; тут плечи ее вздрогнули, тихонько вскрикнув, она обернулась. И он увидел в шалаше волос лицо, прелестно юное и гордое.

– *Skąd pan tu?* откуда вы?

Помедливши, его рука сняла десантный голубой берет с кокардой... Так, перед могилой, – она у камня, на высаженном подле клевере, а он по-прежнему в своей засаде, они и познакомились. Анжела была из Кракова, оканчивала школу там, – *«liceum ogólnokształcące»*, как она сказала, все еще опасливо поглядывая с корточек и переходя забывчиво на свой родной язык. Но он не должен удивляться, увидев ее здесь, присовокупила она как оправдываясь: сейчас занятий нет, в лицее летние каникулы!

– *Wakacje, rozumie pan?*

Он подтвердил, что «разумет». Затем, где, понимая, где, угадывая смысл оборотов ее речи, он также выяснил, что здесь она гостит у своей *bardzo świetnej, bardzo drogiej* полу-полячки родственницы и что на кладбище был похоронен ее дед.

Перед заброшенной часовенкой, не доходя отверстия в проломленной стене, они расстались. Движения стесняла парадно-выходная форма. При этом разговор не клеился, решительно не соглашаясь с тем, о чем он размышлял до этого. И встреча промелькнула перед ним как в дымке.

Наутро еще до побудки в посапывавшей мирно и вразброд казарме эта дымка разошлась, и он уже отчаянно ругал себя. Представить только, говорил он самому себе, едва открыв глаза на показавшейся ему чего-то очень неудобной ляскающей койке: в самый «роковой момент» (уж тут он не жалел художественных красок!) девушка явилась как икона ниоткуда, явилась, обуяла собой и пропала. Гадая о трагической судьбе отца, он даже не подумал проводить ее. А кроме имени, которое уже не выходило из ума, он больше ничего, чтобы найти ее, не знал. Он вспоминал её бесхитростный вопрос, от изумления невинно и прельстительно раздвинутые как для поцелуя губы; русалочки как малахит глаза... И чувствовал, она ему нужна. Мысли об отце от этого не сделались второстепенными, нимало не рассеялись, но обрели как будто новую тональность. Он укорял себя, но, пробуя в них разобраться, замечал, что всё, о чем бы он ни размышлял, вплетается как кружево в *одно*. Само собой, что все это своим порядком тут же связывалось с ней, – с ее глазами, голосом, губами, и отбивало всякую охоту к сложным умозаключениям.

В ближайший выходной он сделал следующую вылазку на кладбище. Ему не сразу удалось найти ту самую могилу с мемориальным безымянным валуном. На полузамшевшей металлической пластине сверху были выгравированы лишь инициалы *М.* и *К.* Хотя он в сердце и питал безумную надежду, но девушки здесь не было. В порыве возбуждения он тут же сочинил записку и положил к подножью камня, для верности прижав к земле залитым воском деревянным кругляшом. Заодно он рассмотрел и сам кругляш, который мог служить до этого подставкой для графина. Потом графин упал, подумал он. Ему представилось, как девушка держала тот в своих руках, и что в один момент ее чего-то отвлекло: надо полагать, весьма ответственная сцена за окном. Графин, бестактно выскользнув, разбился, подставка, значит, стала не нужна. Не отдавая себе ясного отчета в том, зачем он это делает, он как язычник поклонился камню у ольхи. Затем, решив, что оставлять записку глупо, а также, опасаясь посторонних глаз, забрал свое корявое послание и положил к могиле принесенные цветы. Когда он уходил, то, осекаясь о крапиву, то и дело оборачивался: казалось, Ангела вот-вот появится. Не вняв его настойчивым мольбам, она не появилась. И после этого, совсем уж потеряв покой, он и поднимался и ложился с мыслями о ней.

И вот недели через три судьба опять угодливо свела их на крестьянском рынке. Видно, оттого что беспрестанно размышлял об их свидании, он встретил девушку такой, как представлял себе, какой, немного дорисовывая, помнил и воображал. Ангела была в лилейном летнем платье, отделанном фестонами на рукавах и по подолу, таких же светлых туфлях-лодочках и в гимназистских гольфах с сиреневой каймой у загорелых икр. Её очерченный упрямо подбородок в полупрофиль и бирюзовая, как и кольцо, заколка на затылке в уложенных двумя жгутами волосах растленно проплывали перед ним в бессмысленной толпе у горок скороспелой привозной черешни. Она была так занята решением хозяйственных вопросов, что не глядела в его сторону, не замечала ничего, только поправляла пальцами свою невероятно сложную прическу. Следуя за ней, он повторял заученную фразу, которая потом тотчас растаяла в уме. Затем, остановившись в полушаге, наблюдал, как свернутый рожком кулёк с черешней волнительно перемещается с прилавка в сумку.

– *Dzień dobry, panna! Jestem bardzo ciesz...*²

Это был досадный, но по совпадению счастливый миг. Девушка все разом поняла, под руку взяла его, словно на минуту оставляла одного, и они пошли куда-то. Разве так бывает или ему это снится? Значит, она тоже ожидала этой встречи?

Не говоря ни слова, они дошли до выхода с базара, где продавали цветы. Ангела замедлила шаги, поглядывая по сторонам, и оба окунулись в море запахов. Взор утопал в розовых

² Добрый день! Мне очень... (польск.)

махровых маргаритках, вишнево-синеватых пестрых астрах, шпажных многоглазых гладиолусах, султанах фиолетовой вербены и голубовато-красных флоксах, высаженных или в самодельных ящичках, напоминавших форму для творожной пасхи, или в покупных некрашеных горшках. Следуя за девушкой, взглядом он искал тюльпаны, но те наверно отцвели. Она не выпускала его руку; он чувствовал ее желание и по выражению лица пытался угадать, что ей понравилось. Она глядела на кувшин с садовыми ромашками, перед которыми кружил, опробуя соцветия, залетный шмель. Наличности в его карманах было маловато. Но сердобольная старушка при виде юной пары сразу уступила всё почти задаром. Накинув сумку на плечо, Анжела взяла букет обеими руками, прижала стеблями к груди. И оба зашагали дальше. Если он чего-то и хотел сказать, то всё забыл. Им овладела дотоле неизведанная и неподвластная реальность: они могли молчать и наслаждаться этим. И окружавшим тоже было не до них. Можно было целый век вот так идти с ней рядом, чувствовать ее внимание, внимать ее красноречивому молчанию, кивать и также молчаливо вторить ей. День как остановился, шурился и улыбался только им.

В сквере у Латинского собора нашлась удобная скамья. Они уселись на неё бок о бок и стали есть черешню. Та была медовая, янтарно-золотистая, на плодоножках. Нащупав ягоды, они, дурачась, подносили их к губам, откусывали плод, затем одновременно сплевывали косточки через плечо, и оба – как будто, так и надо было – хохотали. Черешни в свернутом рожком пакете, стоило признать, совсем уж ничего ни оставалось. Метрах в десяти шумел фонтан с драконом в радужном сиянии от брызг. Бьющие из пасти струи на солнце отливали чёрным, водяную пыль сносило ветром в сторону скамьи. Пахло свежестью большой реки и грушами. Анжела держала фунтик с ягодой у своего бедра, обтянутого сплюснутыми складками подола. Цветы раскидистым снопом лежали на ее коленях, словно бы она их только-только нарвала. Думая, что изучает лепестки, он видел рядом ее губы, ловил ее дыхание под натягающимся лифом платья... хотел свершить несообразное чего-то, с неотвратимостью влекущее, испортить дивную минуту. И молчал.

Опередив его поползновение, она лукаво искоса взглянула:

– Хочешь, чтобы я чего-нибудь сказала?

Ну да, он этого хотел. Она была так близко, что в эту явь вполне еще не верилось. Желание притронуться к ней вспыхивало, заманчиво кружило голову и робко таяло. Он ощущал неодолимое влечение, вновь чувствовал ее желание; но от волнения не мог пошевелиться, хоть на два пальца сдвинуться, сесть ближе. Мнится ему это или нет?

– Ты молчишь обо мне, я знаю, – произнесла она так тихо, что он боялся что-то пропустить. – Но это лучше, чем слова, в них мало смысла. Как ты хотел, так всё и вышло, да? Чего ты чувствуешь? ты видишь, что уже твое?

– Моё? Не знаю.

– Знаешь. Не выдумывай! Сейчас есть только я и ты. Есть только мы: и я как ты и ты как я. Как ты сейчас воспринимаешь всё вокруг, так точно вижу это я. Мир различается не столько красками, как их оттенками, полутонами. Смотри, какой пурпурный цвет? и эти бархатные струи. Природа тоже радуется. Но в этом есть и горе, замечаешь?

– Возможно, да. А ты?

На каком языке они говорили?

– *Можливэ?*

Анжела поймала его руку под цветами, сжала в своей маленькой ладони и быстро поднесла к губам. Её ресницы оросились водяной пылью.

– *Можливэ естэм милчэ...*

Ему пришлось закончить эту фразу про себя: послышались раскаты грома. Из низкой, откуда-то приспевшей тучи, вмиг брызнул тёплый дождь. Анжела как знала, что начнется ливень. Раскинув руки в стороны, она откинулась на перекладины скамьи, подставила лицо

под учащавшиеся капли, зажмурилась и замерла с какой-то сатанински сладостной улыбкой. Гроза всё расходилась, будто бы разбушевавшийся дракон в их честь метал по сторонам громы и молнии. Часть города была еще освещена косыми полосами света, но в ближнем нависавшем крае тучи чего-то грозно перемешивалось, меняло очертания, как если б в ее недрах оплавлялся медленно тяжелый пасмурный свинец. День смеркся; мозглой пеленой заволокло торговые палатки за аллеей и близстоящие фасады зданий. Стали неразборчивы карнизные, тремя точеными ферзями, башенки на колокольне у собора, которые они до этого разглядывали, ломая голову над тем, барокко это или ренессанс. Затем он весь исчез, и дождь, смывая с крыш и листьев городскую пыль, полил как из ведра. Аллея утонула, – сначала лишь по боковинам, но вскоре целиком вся скрылась под водой. Перед скамьей текли и пенились потоки, и в осенявших небо огненных разрядах было видно, как в мутноватых лужах около фонтана яростно вздуваются, шипят и тут же, чередуясь, лопаются бегающие пузыри.

Рассудок потерялся от блаженства. Всё выходило так, как он и представлял: неведомое снизошло и отрывало от земли. И Ангела, должно быть, управляла этим:

– *Пиийдзь! пиийдзь! пиийдзь!*

Верно уж, она звала к себе не только дождевые капли, и что-нибудь должно было вот-вот произойти. Взяв с нее пример, он тоже запрокинул голову и начал повторять:

– *Пиийдзь! пиийдзь!*

Тут было уж не до градаций и оттенков: разуться бы, за руку схватить ее, да и бежать.

Вымочив насквозь до нитки, дождь утих внезапно, как и начался. Они сидели точно на плоту, который вынырнул из бурных вод. Девушка, смеясь, болтала над сырой землей ногами в своих гольфах и глядела вверх. На миг как позабыв о нем, с тем выражением, какое было у нее перед могилой, она глядела и глядела в одну сторону. Вроде ничего особенного в ее взгляде не было: мысленно в тот миг она парила высоко, но ее сердце билось рядом. И вот в одно мгновение небо над собором расцветилось радугой: сияющее семицветьем коромысло вспыхнуло над головами и перекинулось через дома к еще укрытым мглой крестам церковей на горе. Тут солнце проглянуло из-за ушедшей тучи, коснулось темных островерхих луковок, тепло и благолепно озарило их, и радуга померкла. Ангела выдернула из волос заколку, – с ее намокших прядей все еще бежали ручейки, и выбросила к небу руки. Не утерпев, он приподнял её на закорки. Она нисколько не противилась, была вполне телесна и податлива, притом, легка как одуванчик. Когда он поднимал ее, она успела захватить цветы. Швыряла их теперь через плечо как новобрачная и заливалась безмятежным смехом, будто перезванивали колокольчики. Над ними простирался безграничный чистый свод. Уверенно держа ее на согнутых руках, он радовался дивному мгновению и даровавшему такую встречу дню, который вновь остановился от избытка чувств и не кончался. А она кидала то вперед, то за плечи ромашки... Конца аллеи не было. На зеркало асфальта падал и кружился, веселя прохожих, белый лепестковый шлейф.

Такая вот история. Было ли в ней что-то необычное, судите сами. В чем-то он, пожалуй, чуть драматизировал ее, храня как оберег в своем сознании, в чем-то, может, чуточку и приукрашивал, но безо всякой цели, не по существу. Спустя два года все то, что было с ним и с этой девушкой, уж раскрывалось перед ним как перед путником идущим вдаль, в необозримой мысленной ретроспективе. В реальной жизни, застенчиво скрывавшей свой оскал за карнавальной маской, с Анжелой они расстались. Нелепо, но это было, как предрешено: у девушки закончились каникулы, ей надо было возвращаться в Краков. А он в то время получил письмо. Мать спрашивала совета: больная и едва дождавшись пенсии, устав от злоязычия, она хотела переехать. Меж строк он понял, что у нее уже есть на примете обмен – в большой индустриальный центр в соседней области, где жизнь была, как думала она, получше. Чего он мог ответить издали? Знающая цену доброте и счастью, мать не была в такой же степени практичной. После переезда ее надежды не сбылись, а денежный довесок от продажи сада, на что она рас-

считывала, выдался не столь уж и велик, в два счета разошелся. И вышло так, что в город своей юности он больше не вернулся.

Дальнейшее, наверное, и вовсе можно было бы списать, как говорили беглые монахи в средние века, на вероломство колеса Фортуны и оппозицию планет. В своей, отполированной уже потом как сага биографии, в один единственный абзац, хотя с патристическим эпюром, он и по прошествии тех лет не мог найти известного себя: всё обернулось будто скверной шуткой, чьим-то неразумным вымыслом. Работа на конвейере автозавода, куда он сразу же устроился, в надежде получить пристойное жилье; затем, едва не завершившееся травмой голени, участие в спортивных состязаниях по троеборью, с зачетом всех почетных грамот и других наград, почти, что начисто изгладились из памяти, как не его. Видимо, поэтому он опускал подробности, когда его расспрашивали, попросту не знал, чего тут говорить. Ничто в подлунном мире не дается даром, жизнь не была коврижкой с маслом и складывалась так не только у него. Думая о будущем, которое тогда еще входило в его кругозор отдельно, без двуединой слитности с минувшим или настоящим, он не скулил и не впадал в отчаянье от приступов хандры. И все-таки, не находя себя в тягуче-суматошном ходе времени, заимствуя избыток сил у прошлого, нет-нет, он обращал свой взор назад: возможно, в куртуазную и безобразную эпоху, объятую знаменем комет, нашествием проказы, везикулами черной оспы и чумой, будь он вагантом или скоморохом, жизнь не казалась бы такой? Пенял он, впрочем, только на себя. Но жить при этих представлениях тем более не стоило. Изобретательный, он от природы был упрям. И понемногу, замкнувшись, точно чернокнижник в своей келье, он стал исследовать библиотеку, которая задолго до трагедии, снабженная своим каталогом и лаконичным сводным комментарием в линованной по двум косым тетради, была, как специально для него, составлена отцом.

Каталог был систематическим, он состоял из девяти разделов, включавших как оригинальные работы, так и переводы, и, кроме того, было около десятка книг с пометой на полях как «греч» и «лат». Двигаясь по описанию вперед, он обнаружил, что заголовки книг располагаются не в ряд по алфавиту, а в постепенно возрастающем тематическом порядке по мере сокращения диапазона исторического времени и углубления в какой-нибудь вопрос, при этом с обязательными ссылками на то, как та же тема освещается в других источниках. Сделав предварительный обзор всей перечисленной в каталоге литературы, он подумал, что, может, и не стоит слепо следовать инструкции, сверяться с указателем, искать «первоисточник» и после снова возвращаться к списку. Хотелось поскорее бросить розыски, расположиться поудобнее в своей камере и начать читать. Но он продолжил изучение бисерного почерка отца на отграниченных двойной чертой полях: рука того не признавала твердых знаков, ставя вместо них апострофы, строчные «р», «п» и «а» почти сливались, когда стояли парой или же чередовались, а буква «д» везде своим кружалом сильно загибалась вверх.

Никто не смог бы упрекнуть его за то, что решил всецело посвятить свой незначительный досуг таким академическим занятиям, притом еще, что своей простенькой спартанской обстановкой его убежище заметно стимулировало эту страсть. Являясь как по форме, так и по размеру чем-то средним между усеченным коридором и увеличенным чуланом, горенка его через прорубленную дверь в стене соединялась с комнатой, в которой почивала мать, и своей дальней от кровати книжной половиной располагалась около скрипучей общей лестницы, ведущей на чердак. Помимо этих преимуществ, она была еще холодной точно карцер, и у окна, которое глядело с высоты второго этажа во двор, на рубероидные крыши самоуправно понастроенных сараев с любившими подраться там соседскими кошками, всю зиму напролет стоял транжирящий бюджет решетчатый камин. Зато когда он утром открывал глаза, то корешки из юфти, ледерина и обтрепанного, латаного выцветшей пикеиной ткани и чертежной калькой коленкора шеренгами глядели на него со стеллажа. Они стояли точно необузданные кони в стойлах, ретиво и по-разному, по «масти» содержащихся в них знаний будили любознательность. И каждая взывала к заспанному разуму. Поэтому он начал как-то раз с того, что содер-

жимое всех полок перебрал. После проведения ревизии он обнаружил небольшое расхождение: в каталоге не оказалось «Жизни патриархов и пророков» Гастингса, выпущенной в Филадельфии, с весьма хорошими гравюрами; и переизданной в Москве «Эстетики» Гамана. (Что интересно, потом он эти книги, открывал, смотрел и перелистывал, но так ни разу и не прочитал). На полке дополнительной, шестой, которая была прибита над кроватью, чтобы постоянно находиться под рукой, располагались словари и справочники. Поближе к вечеру, сверяясь с глоссами в тетради, он брал со стеллажа какой-нибудь трактат, обрез и переплет которого, от фолио до фолианта, в зависимости от печати и бумаги имел лежалый сладковатый или кисловатый запах, ложился с ним в постель и так, с раскрытой книгой часто засыпал.

Вы, вероятно, спросите: была ли эта тяга к знаниям связана с каким-нибудь особым складом его личности или дарованием? При убистряющихся темпах жизни и разнообразных электронных новшествах такой вопрос уместен, разумеется. Только вот, подумайте, зачем вы задали его? признайтесь, уж так ли вам не все равно, уж так ли вам охота тут остановиться и порассуждать? Да и потом, в том возрасте, в котором находился он, сама уж постановка этого вопроса могла бы нанести урон. Ну да, он был не без таланта, но в голову ему ни разу так и не пришло спросить себя, зачем он это делает, читает, перелистывает книги, что-то узнает... Он шел вперед и твердо знал одно: в своем стремлении найти причину всех вещей, какой-нибудь свой уникальный «философский камень», он не был одинок. И тут в своих исканиях и штудиях, он мог по праву бы собой гордиться, считать себя каким-нибудь великим первооткрывателем, землепроходцем: самопознание неотделимо от сознания; мир различается не столько красками, припоминалось, как сочетанием или отсутствием полутонов. В премудрой «Книге перемен», которую он начал изучать урывками (ну, то есть, если в этот вечер не был у конвейера или не встречался возле городского парка с Анжелой) жребий ему выпадал на гексограмму Ши. Следуя подсказкам на полях тетради, до этого он проштудировал повествование о жизни Лао-цзы, «старого ребенка» и одного из *Трех пречистых*, как называли того верные адепты, и сделал заключение, которое во многом совпадало с его собственным, полученным из ряда бессистемных наблюдений. Суть этого была проста: у каждой вещи, равно как и у любого, хотя бы и случайного на первый взгляд явления – есть свое предназначение и свой исток, который только надо постараться выделить в цепи событий, соотнести с желаемым и распознать как наводящий знак. Поэтому он полагал, что в выпадавших совпадениях по «Книге перемен», есть более глубокий смысл, значение которого должно раскрыться от усилий постепенно. И в поисках того все перелистывал и перечитывал страницы. В тексте эта гексограмма связывалась с «войском» и означала Исполнение: пять черт прерывистых, одна сплошная. Смысл их толковался как удача в стойкости; внутри была опасность, ничтожным действовать не полагалось. Горячность и решительность должны были уравновесить выдержка и бдительность. Возможен и неправый суд, с иносказательностью Поднебесной было в комментариях. Необходимо войско. Но в войске может быть воз трупов.

Вооруженный у конвейера надсадно воющим ключом на электрической подвеске перед колесами свежеекрашенных грузовиков или по пути в спортзал, где ожидал его безжалостный и ироничный точно ирод тренер, он не забывал своих домашних разысканий. И если выпадала парочка минут, тут же обращался к виду иероглифов, обозначающих эту гексограмму, которые изображались в книге так:



Как воплощение единого вселенского дифтонга, хотя бы и звучавшего для каждого по-своему, они казались слитными, словно бы сомкнулись и срослись на протяжении эпох. Проявляя представить их раздельно, перевернув в уме и снова ставя вместе, он прилагал усилия к

тому, чтобы добиться четкой ясности их восприятия и пробовал подольше задержаться в этом состоянии. Все отвлекающие звуки уходили; но он при этом не утрачивал самоконтроль, как шестым чувством мог улавливать, что происходит у конвейера, и, если было надо, сразу же приостанавливал свое медитативное занятие. Но бессознательно он, видно, размышлял еще о чем-то. И то, что было в его мыслях, на что никто не мог рассчитывать, вдруг постучалось в дверь само.

В один воскресный день как манна с неба – и делоустроителем и врачевателем души, как вскоре оказалось, в доме появился старый закадычный друг отца, как он многозначительно, сняв шляпу и свой долгополый серый макинтош, представился: *Трофимов*. Он был уже немолод и выглядел в своем просторно-старомодном и непритязательном наряде как тайный выдающийся кудесник. Да, не вызывая почему-то ни малейших опасений, его особа вышла будто из арабских сказок с оригинальными, проложенными чем-то наподобие пергамента офортами, виньетками и золотым тиснением, которыми зачитывался с детства. В нем было сразу что-то от Синдбада, который после долгих странствий по чужим морям с несметными богатствами опять ступил на отчий берег, и от сибарита-колдуна в запутанной истории про Аладдина. Статиков о нем ни разу прежде не слышал и никогда не видел.

– Не знаю уж, чего и ожидать? двадцать лет ни слуху, ни духу! – стоя перед гостем, смущенно и не чересчур приветливо сказала мать. – Предупредил бы хоть, дал весточку заранее...

Кажется, она была не так удивлена, как насторожена приходом давнего знакомого.

Выслушав ее, Трофимов хохотнул. Он был под стать своей хламиде мешковат и лысоват, с коротким шишковатым носом, широким лбом и твердым крупным подбородком, который сразу же запоминался. И от порога оглядев убогое жильё с покатым забубенным полом, веско произнес:

– Коли быть точным – *двадцать два*. Давненько, уважаемая, да. А ведь я тот, кто вам сейчас и нужен!

Мать собрала на стол – ленивые блины на скисшем молоке, которые в минуту испекла на газовой плите, и летошнюю, в сахаре, чернику. Затем, сняв фартук, присела и сама перед своим знакомым.

– Чем Бог послал, не обессудь!

Приятеля отца завали Николай Сергеевич и из разговора оказалось, что он холост. В столичном аппарате он занимал высокий пост. Но этим положением напыщен не был: держался, не чинясь, и рассуждал весомо; с юмором и прибаутками рассказывал о разных переделках и коллизиях, в которых побывал. И был умен. Статикову он, между прочим, сообщил, что *оны времена* работал в Совнархозе, в отделе Управления делами. Когда их упразднили, методом возгонки, или «как конюший за обозом», он перебрался в министерство и ныне уж курирует всю область. Так-то.

– Ну, знаете, и я не Бог, но кое-что могу! – сказал он со значением по поводу жилищных тягот.

Затем, как подобает сказочному гостю, Николай Сергеевич пообещал, что спустит с кого следует три шкуры. И ушел.

Перед рабочей пересменой в понедельник, в служебном кабинете с мореными панелями и целой сворой телефонных аппаратов, который расторопно выделил в его распоряжение директорат, он разливал армянский «Арагат» по чашкам, выплеснув оттуда в кадку с фикусом, видимо уже не раз переживавшим это, не стимулирующий жидкий чай, и вперемежку делал наставления, читая будто по стеблям тысячелистника:

– В спорт ты зря, Сергей, ударился, не для тебя это, не тот фасон. Но курс был, в общем, верный. Как себя покажешь, утвердишь, так дальше пойдет, коли проявишь кроме твердости еще и гибкость. Вопрос с квартирой и твоим трудоустройством я решу. Запомни, если я чего

пообещал, так сделаю. Со мной или за мной ты будешь, так это после сам уж выбирай. Только уж, смотри, не подведи, пострел. Лиха беда начало, – слышал?

Смирив свой молодой бескомпромиссный ригоризм, Статиков пил «Арарат» вприкуску с трюфелями и поддакивал. Даже если бы ему и не напомнили об этом, он все разумел и слышал. Как пообещал Трофимов, так всё и сложилось. Вскоре после этой встречи Статиков переменял работу. А еще через месяц, наскоро припомнив школьные азы по алгебре и написав с одной помаркой сочинение, он был вне конкурса зачислен на вечернее отделение в Экономический институт.

Так, не прибегая ни к каким волшебным заклинаниям и астрологическим прогнозам, он установил, что каждое заветное желание в своем целенаправленном развитии осуществимо. «Книга перемен» и 18 двухкопеечных монет, с помощью которых он гадал, подбрасывая их по три кряду, и, выбирая между Инь и Ян, давали, ясно, не прямой, а приблизительный, гипотетический исход в своей интерпретации событий. Сами же законы Дао, – до некоторых пор они вели его и дальше, подсказывая верный путь, не позволяя задаваться или раскисать среди побед и неудач, – были неизменны и неизменно подтверждали это. Может быть, поэтому перед лицом свершившегося факта он не испытывал тогда особых неудобств. Чернильный заводской комбинезон был немудрено заменен батистовой рубашкой, купленными из заначки кожаными туфлями и отутюженными брюками. Свои раздумья относительно Трофимова, со всей взаимосвязью прошлого и настоящего, он отложил. Его расспросы могли бы растревожить мать. Естественно, она желала ему счастья и везения во всевозможных начинаниях: желала, как умела; при этом очень не хотела ворошить минувшее. Он видел в этом предостережение, угрозу для перспективы жизни вообще, как понимал это тогда, и для своей карьеры в частности. Даря его своей заботой и теплом, мать, разумеется, была права: любая ноша тянет перед восхождением!

Надежда Павловна, как называли в школе мать, была взыскательна к словам: если б что-нибудь такое и подумала, то никогда бы не сказала сыну. Но он сумел прочесть это в ее глазах. На этой стайерской дистанции ему теперь должно было закрепиться.

II. Разбег

Для тех, кто верит в тайную символику оккультного, теургию чисел и в малообъяснимые народные приметы, наверно следует сказать, что полное название организации, в которой ему предстояло утвердиться, в стандартную печать с гербом едва вмещалось. В дальнейшем он просит извить его за фельетонный слог и вольность некоторых сопоставлений, к которым прибегает только для того чтобы передать то состояние, ту меру восприятия и возникавшую при этом гамму ощущений. Почти зеркально отражая состояние морали в обществе и в то же время, узурпируя ее, служа по разным поводам и камнем преткновения и оправданием, такое отношение к иным чертам действительности преобладало в головах людей как независимо не от чего. Внося разлад в порядок восприятия, все вместе взятое, – имея вроде бы благую цель, разменивало чувства и исподтишка подтачивало ум, насколько понял он впоследствии. Не осуждая никого, он это просто констатирует и бесконечно сожалеет.

Одна из многих в ведомстве Госснаба, организация, с которой волей случая свела его судьба, образовалась некогда из распадавшейся как закипающий конгломерат структуры Совнархоза – регионального учреждения, входившего в систему органов централизованного управления экономическим развитием страны. Однако за свой срок, как было принято считать, служебный аппарат таких учреждений был искусственно раздут, обюрократился, и от бациллы местничества вся система прогорела. Не пожелав плодоносить на том же оскверненном месте, новая организация расположилась в только что отреставрированном здании, которое давным-давно стояло в центре города и в разных планах представляло интерес. Двусмысленный античный экстерьер его, периодически каким-нибудь газетным пасквилом по части канувших куда-то средств и ляпсусов напоминая о себе, более ста лет, хоть с точки зрения архитектурных форм и незаслуженно, знаком был твердолобым обывателям как «пантеон». На примыкающую к левому фасаду магистраль у сквера еще с тех пор, когда здесь заседали Городская дума и Управа, смотрели ионического ордера с волютами беленые пилястры. А со стороны центральной площади, где дважды в год, бывало, проходили праздничные шествия, и загустевший воздух бравурными маршами пронзал оркестр, союз двух эротичных от припущенных туник кариатид у входа венчал классический, с шестью декоративными надстройками фронтон. Из экскурса в историю вопроса выходило, что эти самые надстройки появились позже или были сделаны якобы не по тому проекту, из-за чего на общем плане ими создавалась диспропорция и визуальный диссонанс. Рассказывали также, что в былое время в среде специалистов из числа градостроителей это вызывало прения, и отголоски разногласий какими-то путями просачивались в рубрики газет. Как полагалось в ту многоречиво-молчаливую эпоху, расчет был сделан кем-то на активные живые отклики читателей. Но этот замысел не оправдал себя. Город был малоподатливый, по генной памяти – купечески-кондовый и инертный, к такому плюрализму мнений не привык: пока ученые мужи махали саблями, стоял себе, как хитрый мужичок на бугорке, поглядывал со стороны, но сам в академический раздрай не вмешивался. И как бывало уж, ни в чем не выиграл и не прогадал. Спор оказался вновь ненастоящим, спекулятивно-затяжным, о чем свидетельствовали две разноречивые статьи в крикливой профсоюзной областной газете. (Закрывать ту не рискнули, хотя ходили слухи, что ответственный за выпуск после этого исчез и в поле зрения широкой публики уже не появлялся). Ввиду чего у зорких горожан сложилось убеждение, что к архитектурным формам здания хотели как-нибудь придаться, вылить на него ушаты грязи, но даже это сделать толком не смогли... Надстройкам, впрочем, было все равно: своим чешуйчатым, окрашенным в зеленый цвет кокошником с пятью его уменьшенными копиями и бельведерами, как смотровыми башенками вдоль карнизов, они наперекор всему по-прежнему увенчивали кровлю и феерически, давая пищу

для воображения, несокрушимо реяли в рассеянной ночной иллюминации как боевые скифские шатры.

Но это было еще до ремонта. Ни конкурсов, ни тендеров, прозрачных как стекло, тогда не проводилось. И после завершения восстановительных работ из нескольких организаций, оспаривавших свое право здесь обосноваться (по «исторической преемственности», как утверждалось в прогрессивной хронике тех лет, но больше, поговаривал народ, чтобы заявить свою амбицию и укрепить авторитет) по мнению властей, только у одной был подходящий для того калибр и вес. Во всем равняясь на Москву, благонамеренные городские власти, самом собой понятно, редко ошибались. И в обапол восьмиразрядного, – «Облглавзарецпромнечернозем-комплектснаббыт», ономастического перла первых пятилеток, она с властолюбивой кротостью именовалась Управлением.

Статиков нисколько не юродствовал, припоминая свои первые шаги на новом поприще, и не пытался, хоть непреднамеренно, преподнести их в свете настоящего: такой стиль был пронизан духом того времени, которое и так и сяк подтрунивало над прежним умонастроением, ломалось точно взбалмошная барышня на выданье, но не решалось напрочь отказаться от него. То, о чем во всеуслышание сказать еще стеснялись, кратко можно было передать примерно так. «В великом ли великое? – спрашивало время. – Суть в том, что есть? или суть в том, что ею кажется? Как рассудить, еще не факт! Как поглядишь, и в малом есть немалое. Спускаясь с гор и набирая мощь, несущийся в туманный дол поток благоволит и мелкому ручью. Большому камнепаду – камни. Дуб кренится и крошится. Бамбук с лещиной – гнутся. Скала принадлежит лишайнику и мху». У времени, как водится, на всё про всё тут был один аршин. Форма и стилистика всех хлестких обобщений, насколько он заметил, такова, что, как ни поверни, все правильно. Но если можно усмотреть в характере хитросплетения эпох хоть что-то объективное, так время вроде не меняло ничего: как говорила «Книга перемен», оно лишь создавало общий облик, свой неповторимый колорит. Всё определялось местом и людьми, да еще – *случаем*. Как и повсеместно в жизни. И в этот распорядок надо было встраиваться.

Благодаря протекции его оформили в огромный штат рассыльным, иначе говоря, с не больно лестным, хлопотливым долгом разносить по этажам бумаги. Плутая с непривычки по разветвленным переходам с крутыми винтовыми лесенками, ведущими все что-то не туда как лаз червя, с круглыми оконцами под самым потолком как с никотиновым бельмом (то ли их намеренно не мыли для разнообразия, то ли от ведра не доставала швабра), и тупиками на периферии, он осматривался. Чаще всего он заходил за поручениями в плановый отдел, который был на третьем этаже, у актового зала и фойе с мраморной молочно-розоватой колоннадой, отделкой и размером притязавшей на гипостиль. Здесь суeta изрядно выдыхалась. С кряхтением, на каждом маршевом броске остро поглядывая снизу вверх и про себя неуважительно поругиваясь, преодолев 126 ступенек застланной тугим ковром парадной лестницы, неатлетического склада посетители оказывались как в златоверхом поднебесье и сразу же искали место, где присесть, передохнуть. Поистине похожий чем-то на османского пашу или калифа (с «размахом и по-барски своенравно», преподносили для понятливых и шепотком), здесь безраздельно властвовал Доронин Хоздазат Давлатович. По сведениям дотошных дам, которым в сообщениях такого рода нельзя совсем не доверять, он был с *персидской именной родословной*. Может, из Ширази, уверяли, или из Тебриза. Не упустив упомянуть в такой связи и, дабы окончательно уж охмурить своей непревзойденной эрудицией: несметные Мидийские владения, древние Урарту и Ассирию; державную династию Ахеменидов, явившихся затем из Фарса Сасанидов; возникший здесь потом Арабский халифат, за этим тюркскую Сельджукскую империю, походы Чигис-хана, Тамерлана и заодно основанный в Тебризе с участием рубля и фунта Шахиншахский банк. Затем происходила выразительная пауза для поправления кулонов на груди, и взгляд смотревших прямо в сердце женских глаз больше говорил, чем спрашивал.

– Ну, слышали когда-нибудь? Чего же вы такой необразованный? Попросите, так просветим! Вот так.

Но легендарный перечень заслуг Доронина на этом не заканчивался. Вдобавок ко всему в свои года (точнее, ему было 42, что тоже было из разряда совпадений и по закону нумерологических вибраций, взаимодействуя с названием организации и прочими магическими числами, метафорично замыкало круг) он выглядел как *экзотический самшит*, был почитателем Омар Хайяма и Руми, газели коего мог процитировать на пехлеви. И до *недавних пор* был не женат.

Такие сведения, преследуя, как правило, обыденную цель – расположить к себе, при этом что-нибудь да выведать, распространялись веером как среди еще неискушенных соискательниц удачи, которые, высказывая замуж, или увольнялись или уходили сразу же в декрет, так и среди тех, кто дюже приглянулся жгучим сердцеедкам; но непременно – тет-а-тет. Что послужило отправным моментом и закваской для подобных изысканий, откуда взялся этот фантастически раздутый женским честолюбием портрет, сыгравший после злую шутку, и спрашивать-то было неудобно. Сам же Хоздазат Давлатович, без ведома которого на третьем этаже не пролетала даже муха, держался так, будто ничего такого о себе не знал. В машинописное бюро, не без причины слывшее рассадником всех слухов, Статиков помногу раз на дню заглядывал. И чтобы не прогневать дам, надо было сообразно отвечать на их заигрывания, притом, являя своим видом полную готовность ко всему тому, чего могло стать продолжением знакомства. По образу и существу это зачастую выходило выше сил, но было тоже частью представления. Что метит лишь на видимость, освобождает и от обязательств, поэтому на неисполненные обещания никто не обижался.

Все руководства и инструкции он получал от молодежавого секретаря, Элеоноры Никандровны, которая согласно перепевам тех же чаровниц из машбюро, была по паспорту разведена, работала тут уже десять лет и потому была неписаной владычицей организации. Со всех сторон обложенная разной канцелярской утварью, а в емких полостях стола – кулками с арахисовой халвой, фисташковым шербетом, иранским черносливом в шоколаде и более унылым ассорти отечественных сладостей, она сидела против входа в кабинет Доронина. Как и надлежало ей по должности, без позволения начальства дальше своего эта дама никого не пропускала. В порядке делопроизводства она была рассеянна, ревнива, но строга. И за глаза ее все называли *Шамаханской* (шутливо искажая окончание ее фамилии и выделяя гласные на тот манер, как это делала она). Роман их развивался тяжело и бурно. И он об этом должен пару слов сказать.

Как выросшая из одежек кукла Барби у своей машинки, с лиловыми губами бантиком и пышно-белым розмарином бюста в декольте, когда он появлялся пред её очами, она – или гуляла пальцами по клавишам позвякивающей в каждую строку и забивавшей мягкий знак «Олимпии» или же орудовала, точно резала капусту, степлером. Имея к этому особый нюх, начальство она узнавала по шагам, чего сопровождалось или легкой судорогой мышц лица или ласковым наклоном головы и посылавшими как бы воздушный поцелуй губами. Но при приближении кого-нибудь другого она приподнимала очи с таким выражением, как если бы из коридора залетел комар или отвалилась крошка штукатурки. И продолжала заниматься тем же, – жуя чего-нибудь или увлеченно, как это делают облизывающие лапы кошки, посасывая леденцы. В надежде, что она когда-нибудь прервет свое священнодействие, он скромно оставался подле ее трона и терпеливо ожидал. В зале было еще несколько рабочих мест. И по приемным дням здесь бывали посетители со срочными бумагами на подпись, а то и вовсе незнакомые между собой, не из отделов Управления, с каким-нибудь больным вопросом или ходатайством. И если эти ходатаи были к самому Доронину, то они могли сидеть подолгу на диванах, гадая, когда им улыбнется счастье и барышня, произнеся с ошибками фамилию, кого-то пригласит «пройти». От ожидания им становилось тошно и, стоило в двери кому-то появиться, как все прекращали перелистывать журналы и изучающее смотрели на него. И вот,

когда уже немели ноги, и меж лопаток начинали пробегать мурашки, ее величество рассерженно взирала вверх; перечить ей ни в коем случае и уж тем более при «всяких ходаках» не допускалось. Сначала взгляд ее кумулятивным прессингом вонзался в пояс как в некое препятствие, перекрывавшее панораму, за этим, как бы удивляясь, что эта часть еще цела, на четверть поднимался.

– Ах, это снова вы? – произносила она так, что люди на диванах с облечением вздыхали. Затем она рассеянно оглядывала стол, пытаясь отыскать те документы, которые он давеча уже забрал.

Как скоро он заметил, предметом ее неумной страсти были разномастные – из «дружественных европейских стран», карандаши и плоские, тогда еще в новинку, маркеры, разложенные как на грядках по своим коробочкам. Не зная чувства меры, она не уставала повторять, что всем своим хозяйством непрерывно пользуется. Она была непреднамеренно правдива в этом отношении: ассортимент был соразмерен, если это позволительно сказать, ее почтенной корпуленции, а также, если верить слухам, созданному ей образу влияния на руководство. И этим имиджем, более всего, цenia услужливость и исполнительность в других, благоговей перед всякой властью и рабски презирая всех входящих, она неимоверно дорожила. Особенно она питала слабость к – *Faber-Castell*, уже очиненным, трехгранным, которых в розничной продаже не было, а грифели, что виделось ей верхом совершенства, при очередной очинке не ломались. Чтобы как-нибудь ее задобрить, Статиков нахваливал ее рабочий стол, который вероятно был из очень ценных пород дерева, а также позволял менять свою геометрическую форму от плоско-симметричной «П» до, несомненно, более солидной «Г». Затем расспрашивал о прочих канцелярских принадлежностях. И в заключение, чего ей тоже очень льстило, какой-нибудь из импортных карандашей одалживал.

Он никогда не пользовался взятым и ровно через час вручал обратно, опять оказываясь в фокусе двух карих глаз. Сварливая и привередливая – не так по нраву, как своим императивным полномочиям, на этот раз она откладывала в сторону дела и прорицала точно Пифия, с шипящим придыханием и вкладывая в это свой подтекст:

– Вааша пунктуальность делает ваам честь! Вы многообещающий курьер *дэнш*!

Карандаши с депешами тут были ни при чем. «Мой милый *донжуан*!» – читал он по её коварным как потревоженный сераль очам.

Ломая все каноны служебно-романтического жанра, и по рассудочным прогнозам более напоминая раковую опухоль, их шашни развивались добрые полгода. Она была лет на двенадцать его старше, довольно вспыльчива, хотя отзывчива, когда другим бывало хуже некуда. При этом – неглупа и рассудительна во всем, чего касалось ее женской репутации и без того небезупречной, уже подмоченной людской молвой, что тоже можно было бы понять. Он ненамного бы ошибся, если бы сказал, что к полному исходу их нештатных отношений нажитая тяга к приключениям уже соперничала в ней с чувством безотчетной платонической любви, расцветшей как подснежник на припеке. Сорвать его и приобщить к вечернему букету в своем солидном будуаре, видимо, казалось ей недопустимым святотатством. Так что она этим первоцветом вволю тешила себя, но, опасаясь кривотолков, предпочитала упиваться, как фетишем, издали, взяв тут на себя еще ревнивую наставническую роль. В перепадавших между дел минутных разговорах она с большим искусством всячески скрывала свои чувства или облакала их в сестринскую опеку.

– Я слышала, вы зачастили в машбюро? – слетело как-то с ее губ. – Не верьте этим барышням, всё лгут. Неряхи и распутницы, всё только воду баламутят и перед каждым встречным поперечным юбки задирают. Сплошной Гоморра и Содом. Не дайте этим папилюткам окрутить себя! Вы слышите? Остерегайтесь!

Но следует отдать ей справедливость: будь она не так умудрена, их отношения в той пораженной неформальным Купидоном обстановке наверняка закончились бы более банально.

Когда он не сумел вернуть, должно быть, выроненный где-то по дороге карандаш и откровенно обо всем ей рассказал, она в ответ призналась, держась за степлер, судорожно хрюскавший в ее руке, и от смятения прижав к себе скоросшиватель, как на Библии:

– Вы меня едва не утомили, дорогой! По-женски даже жаль. Вы представляете? Но я в вас, к счастью, не ошиблась! – И густо покраснев от удовольствия, расхохоталась.

С такого приключения, которое на удаление видится забавным и почти невинным, можно сказать, началась его работа. Да, наверно к этим отношениям с густым начесом флирта или лицемерия с позиций нынешнего дня можно отнести, прикрыв глаза, помягче. Но, так или иначе, неудержимо занятый строительством своей карьеры, едва ли он тогда серьезно размышлял об этом, резвящаяся в жилах молодая прыть бурлила и брала свое... И все-таки благодаря судьбе не это было главной встречей здесь. Ну да. А что есть в жизни главное? Быть может, главное всегда стоит и ждет, а всё случайное бежит куда-то? Понятно, это он сейчас так думает. Или вот еще такой вопрос: как много стоят те или иные наши убеждения, когда один бесславный миг способен разом изменить и нашу искренность и то, что раньше нами виделось как цель?

Стараясь выработать аккуратность, папки он носил в опущенной к левому бедру руке, обхватывая снизу корешки ладонью. Решив во всем придерживаться строгого порядка, он не рассчитывал на то, чтобы его за это похвалили. По складу психики ему гораздо проще было выполнять такие операции, когда не приходилось отвлекаться на рутинные поклоны и приветствия, запоминать последовательность, в которой надо разносить бумаги, и безошибочно знать всех, к кому он заходил, по именам. Поэтому, обычно поглощенный чередой посторонних мыслей, он был до крайности несобран, путал имена и назначения по срочности доставки, бывало, со спеха сбивался, что-то пропускал; и поначалу ему было нелегко. К тому же пока он делал марш-броски по этажам, сжимая в руке папки, пальцы от усилия потели, предательски запечатлевались на пупырчатой поверхности, и перед раздачей приходилось где-нибудь в сторонке быстро протирать взопревший дерматин платком.

И вот, за этим действием его раз кто-то подтолкнул, злосчастные «дэпэши» сшивками и вперемешку разлетелись. Едва не выронив и папку, он в недоумении глядел на полубога в черной тройке, прыгавшего подле точно жаба по паркету. Такое было впечатление со стороны: истинно, как жаба, занятая поиском каких-нибудь букашек на болотной пустоши. Прыгая, тот что-то тараторил, при этом норовил своим локтем всё отстранить его, когда он пробовал помочь.

– Раз, два, три. Четвертой, самой проклятушей, не хватает. "А" упало, "Б" пропало. Эка незадача, вот те раз! Простите милостиво, сударь, уж я без этих шалостей никак.

Делать больше ничего не оставалось, кроме как стоять как увалень столбом и ожидать пока тот всё не подберет. Сотрудник был, похоже, не в себе; и вообще, здесь так вести себя не полагалось.

– Вестимо нет: не принято, не привилось, не полагалось! – закинув голову, радостно и оглушительно воскликнул прыгающий человек. – По совести сказать, я сам как увалень: коли одно найду, так уж другое верно потеряю. Уж чем Господь пожаловал, тем до могилы наградил. Да ведь не всякое же лыко в строку, а? Простите, совсем забыл осведомиться в этой суводи. А вас по отчеству-то как?

Статиков конфузиво представился: пока его все называли лишь по имени, ничем не выделяя из других рассыльных, которые своим радением, когда аллюром двигались по коридорам, со стороны напоминали взмысленных чистопородных скакунов. Чего уж было удивляться его виду? Он чувствовал глупейшую растерянность, как если бы его схватили под узды на всем скаку.

Мужчина перестал возиться на полу, внимательно взглянул, и по его лицу скользнула тень сомнения. Ответ был им воспринят озадаченно.

– Эвон отколь ростки у вас. *Заходный имать быти?* А что, в солянке нашей не убудет. Шериветев. Да вы обо мне уже слышали?

Растерянность, пожалуй, чего доброго могли принять за неотесанность, а тугоумие за непочтительность: до этого они встречались только мельком и нечего нелестного, на что тот вроде намекал, Статиков о нем сказать не мог.

– Это вы-то?..

Шериветев снизу вверх уставился зрачками выкаченных глаз. Но тут поднялся и расплылся в сахарной улыбке:

– Хм, а ведь и впрямь!

Все вышло точно в ступоре и было страшно неуклюже. Отдав бумаги, сотрудник снова извинился, чопорно расшаркался и скрылся.

Кляня свою неловкость, Статиков стал разбирать у подоконника перемешавшуюся почту с налипшей на поля пылью. Документация предназначалась для архива: там скрупулезно проверяли всё, разглядывая чуть ли не под лупой каждый плохо пропечатанный знак, словно это дарственные или закладные. И если находили непорядок, то делали в сопроводительной свои шифрообразные пометы. Так что приходилось часть документации нести обратно, ждать, когда все «исходящие» исправят, и, поторапливаясь, возвращаться. Бывало, что он дважды в день проделывал такие круговые путешествия в архив, который был на первом этаже в другом крыле, за дверью со звонком и, как часы с кукушкой, тут же открывавшимся окошечком. Особо труда это не составляло, но отнимало уйму времени, которым можно было бы распорядиться более результативно. И погода, когда он понял, в чем был смысл придинок, его, бывало, даже подмывало самому исправить мелкую неточность или опечатку. В своем не больно лестном допущении сотрудник вообще-то не ошибся: раз уж ему это поручили, он мог бы исподволь узнать чего-нибудь из этих отслуживших рапортов и заявлений. Но для чего? ему это и в голову не приходило! Пытаясь навести порядок в папке, Статиков непроизвольно размышлял об этом. Пронумерованных скрепленных или разрозненных бумаг было перед ним не менее десятка. И среди них на глаза ему попала мятая служебная записка с услышанной до этого фамилией в углу: *"от Шериветева В.А., вед. экономиста"*.

Чувствуя себя воришкой, который ненароком влез в чужой карман, он дважды перечел набросанный как не с руки немногословный текст, более напоминавший ребус. Почерк был каллиграфический, с уздечками и завитушками над прописными буквами, сжатый и забегающий строками вверх.

«В четверг 10 апреля опоздал. Засим, в моё отсутствие в Саду все шло по графику за исключением обеда».

По смыслу заковыристой записки, как это не читай, – прикинул он, – события в «четверг» происходили задом наперед и были как под флёром закулисной мистики. Речь могла идти лишь о приемной с отдельным штатом персонала, который лично отбирал и ежегодно обновлял Доронин, придерживаясь тут выверенной практики. Шериветев тоже находился в этом штате, но если даже ему многое позволено, по статусу такое изложение было неприемлемо: по форме чересчур задиристо, оно как бы высмеивало что-то. А между тем в самом подателе, который так цветисто это настроил, нельзя было отметить ни одной черты, хоть чем-то выделявшейся: как ловко этот плут всё разыграл!

Как это свойственно персонам незадачливым, Шериветев оказался легок на помине. Хотя часть коридора перед закутком, где Статиков стоял, еще минутой ранее была пуста, бог весть, откуда взявшись, выглянул из-за плеча, старательно и со значением покашливая.

– Эка услужил! все ли разобрали?

С намерением ретироваться ничего не вышло. Шериветев тут же сделал обходной маневр: выкинул колено, словно бы заправский клоун в пантомиме, взмахнул по-капельмейстерски рукой и прытко прихватил за полу пиджака. В его расхлябанных манерах, в фигуре, точно на шарнирах, и в обволакивавшем мягком взгляде, казалось, было что-то несуразное или неладное. Непрошено явившись и перебивая деловой настрой, это выводило из себя, по-своему увязываясь с тем, о чем и как он говорил.

– Сиречь такое правило, я вам скажу: уж как проспал, предупреждай! – подобострастно и с ужимками промолвил он. – Доронин, разлюбезный наш, как эталон. А остальные вынуждены мешкать: где бы вышел пустячок, какой, а так, – пока ещё при наших коммунальных бедах связь наладишь? Потом, извольте уж и объяснительную дать, для профилактики. Только вот зачем нужны ему такие письма, ежели он их по пятницам, поверите ли, сударь мой, яко векселя гашенные в корзину отправляет? Не знаю, право, как и понимать.

Пытаясь отогнать видение, из тех, которые бывали в детстве, – будто он глядит сквозь линзу, до ужаса, куда б ни посмотрел, гипертрофировавшей всё, Статиков, сжимая папки, отступил на шаг. Уши у него горели. Тогда же у него мелькнула мысль, что эта встреча неслучайна.

И верно, неслучайна. Если заглянуть вперед, знакомство с Шериветевым станет знаменательным в его судьбе, по-своему преобразит карьеру, бесповоротно приведет к переоценке некоторых взглядов и суждений. Но будет ли он так уж благодарен этому?

На том или ином отрезке времени *внешнее*, как он считал, в большей или в меньшей степени, определялось все же – *внутренним*. Уж так от сотворения заведено и всё разумное на тот же образец устроено. Заведено-то правильно. Да только с этой степенью не всё так ладно обстояло: на службе быть самим собой не удавалось. Он был таким, как помнил самого себя и знал, по отзывам со стороны, и – не-таким. Так надо, думал он, чтобы его ни в чем не заподозрили напрасно, ибо у людей свои стереотипы и пристрастия и, если уж они чего не понимают, то... Внутренне он вроде не менялся, но иногда себя не узнавал. Личность самого Трофимова с его как будто бы проснувшейся виной перед отцом и настоящей опекой была отнюдь не однозначной. Но у рассудка был тут свой заглашник, чулан. Когда он рассуждал об этом, то сам расценивал такой заглашник двояко: практически тот был необходим, поскольку жизнь не каждую минуту шла по маслу, и приходилось чем-то жертвовать в себе – или уж подлаживать под более приемлемые месту интересы или же откладывать до лучших пор. Так он говорил себе. Но даже если никаких накладок не было, его не покидало беспокойство, будто он идет по хлюпающей хлипкой гати, боясь и оступиться и взглянуть назад. Какой ценой потом он должен будет заплатить за это? Настолько ли он прав в своем предположении? Или это сущий вздор, над каковым не стоило и голову ломать, в нем просто говорит боязнь, наследственная мнительность отца? При следующей встрече с Анжелой над этим стоило поразмышлять!

«Чего ж тут размышлять?»

Подозревая, что ослышался, он обескуражено взглянул на сослуживца. Но тот, не замечая его мины, самозабвенно изливался в откровениях, будто они давние знакомые; при этом пальцами одной руки держал за пуговицу пиджака, покручивал ее, рассчитывая, как и вовсе оторвать.

– А я по складу, знаете, не то что из завзятых неудачников, а как-то уж всё на виду, да на слуху, ага. На службе так совсем не то, что дома, прямо наказание. Прикиньте вот: ежели, к примеру, там сума, какая или ларчик драгоценный свалится к ногам, так непременно уж при всех. А глаза у вас умные. Смекаете, зачем я говорю?

Дело могло кончиться плачевно. Статиков готов был провалиться от стыда: потом он сам же будет костерить себя за то, что не прислушался к рассудку, сразу не ушел.

– Ну и *зачем?* – вовремя вмешался властный баритон.

Голос был из-за спины, как благовест, инкогнито. Это был изысканный прием Доронина: неслышно, точно ягуар в вольере, шествуя по коридору с дремотной щелкой, как могло бы показаться близоруких глаз, он имел привычку мимоходом добавлять какую-нибудь реплику или директиву к разговору подчиненных. На подавляющее большинство сотрудников, когда те суесловили и забывались, его вмешательство производило впечатление гудка сирены перед близким штатным сокращением. Воспринималось это как предупреждение, служа, как правило, предвестником развернутой головомойки на летучке, к тому же обладало той особенностью, что зачастую оставляло ротозеев в полном замешательстве по поводу своих масштабов и причин. Доронин крайне редко прибегал к формальным письменным взысканиям, использовал для этого другие средства. На каждого сотрудника он вел свой табель «успеваемости», включающий все промахи и плюсы по мажоритарной накопительной системе, от застолбленных норм которой он ни на шаг не отступал. При этом он был неизменно вежлив и корректен, не доходил до резких замечаний, но и никогда не объяснял мотивов своих действий. Видимо, он полагал, что стоящий сотрудник, если обладал уже своей собственной позицией, так должен был об этом догадаться сам. На всякие его «макиавеллевские» методы седеющее руководство Управления смотрело косо, мирясь с таким нововведением как с временной и вынужденной мерой. В кулуарах терпеливость руководства объясняли положительной статистикой: пока никто не жаловался, а для порядка в этом не было вреда. Доронин, вероятно, это обстоятельство учитывал. Присвоив себе право вмешиваться в личные беседы подчиненных, которых быть на службе *не могло*, он регистрировал реакцию на замечание, произносил свое «ну-ну!» и, сам же будто бы досадуя на выявленный ляпсус, уходил.

Интуитивно, без карающих осечек, Статиков тогда еще не научился предугадывать. А о расчетливом позерском умничанье думал так. Если человек рассудочно и за семь верст чего-нибудь планирует, то вносит искажение в свое ментальное пространство, ибо, поступая так с какой-нибудь утилитарной и своекорыстной целью, он выпускает из расчетов переменчивую вязь явлений, а также (часто небеспочвенно) еще несостоявшегося в срезе будущего самого себя. На трезвый взгляд такие рассуждения могли бы показаться слишком уж заумными, пессимистичными, но он не загружал свой мозг без меры, просто был уже немного сведущ в обстановке. Потенциально для карьеры любое упущение, вдобавок с нарушением субординации, могло стать черной меткой. Причем для пользы дела, как позже оказалось, в своей двухкамерной душе Доронин в разговорах с глазу на глаз мог быть либералом: держа на мушке собеседника, на все лады клеймил заезженный квасной патриотизм и сокрушал как на живца рискованными аллегориями. Но в подчиненных вольность не любил.

Вальяжно-обходительный, в приколотом к рубашке броском как из канифаса галстук и с бежевой тряпицей из нагрудного кармашка в тон, он дружелюбно посмотрел, смахнул какую-то соринку с лацкана и будто подмигнул:

– Держите марку, люди всякие. Один вон и радивый вроде и способный...

Статиков непроизвольно обернулся. Но Шериветева уже и след простыл.

III. Крещендо

По будням Анжела обычно поджидала его в холмистом пригородном парке, у обрамленного рустом бассейна с выведенными, изредка побулькавшими криницами. Поближе к вечеру, когда на липовой аллее, вымощенной флагом красно-желтоватой плиткой, удлинялись тени, являвшийся сюда любительский квартет играл Шопена, Брамса и венгерские рапсодии. Репертуар был небогат и никогда, насколько помнится, не пополнялся, поэтому, чтобы придать тому оттенок новизны, произведения чередовались в смешанном порядке, но начинались и заканчивались Листом. Из девятнадцати его рапсодий особенным успехом пользовались две: вторая и пятнадцатая, причем «вторую» прямо-таки обожали и под конец просили повторить. Когда ее пассажи, увенчанные через цезуру произвольной праздничной каденцией смычка, стихали, стоявшие на флангах пожилые женщины, расчувствовавшись, говорили: «браво! бис!». Затем, как бы ища поддержки, поглядывали на своих мужей с газетами или журналами под мышками и бывшими в их кулачках платками промокали лица. Но чаще группа музыкантов, чьи пропотевшие у шеи кубовые тенниски по выходным переменялись пиджаками на одну петлицу и криво прищипанной вороту рубашек бабочками, умасливала слух *con brio* и без перерыва. Гармония альты, фортепиано и двух скрипок вблизи перекрывала звук шагов. Но Анжела каким-то образом их слышала, опережала сердцем его приближение. И сколько раз он ни пытался незаметно подобраться к ней и встать с сосредоточенно-серьезным видом за спиной, будто бы он тут уже давно, ему это не удавалось. Пока он шел от остановки по аллее, мир восхищенно замирал и молчаливо расступался, глядя, как она, заметив его силуэт под сенью шелестящих кущ, упругая как лань, стремглав через толпу неслась навстречу.

– Ясновельможный пан сегодня что-то опоздал, притом необычайно лихо выглядит. Где тот парадный мундир, который ему так к лицу? Не морщись. Если тебя разжалуют, из-за того что мы встречаемся, я учиню международный скандал!

Может, и не стоило её удерживать? Конечно, только фигурально, на языке, который они оба понимали, и за него и за себя она была готова разнести всё в мелкие щепы вокруг.

– Давай оставим лучше всё как есть.

– Нет, не оставим! нельзя другим всё оставлять. Потом, им этого совсем не надо. Взгляни, какие несмышленные.

Они смотрели, как приезжие бросают в водоем монеты. Местные мальчишки своими окаянными шестами с прикрученной к ним жестью от консервных банок потом выуживали все от гривенника до копейки. У них тут был свой промысел и конкуренция, случайных чужаков под страхом наказания на даровое поприще они не допускали. А самые активные из этих сорванцов с чутьем предпринимателей клялись, что за умеренную плату могут доглядеть за вашей инвестицией.

– Тебе и мне.

Анжела вложила в его и в свою ладонь по десять грошей, они соединили горсти, размахнулись... Разбившись на неправильной параболе, как соревнуясь, монетки разом взбили столбики воды посередине.

– Теперь его так просто не достанут.

– Наше счастье?

– Да. У тебя опять из-за меня неприятности?

В трудную минуту надо было лишь обнять ее покрепче, чтоб отвлечь. Из-за его неуставных отлучек в части ему стали строить козни (хотя с уставом связь была лишь косвенной). Командование знало, что они встречаются; учитывая его послужные доблести, смотрело как сквозь пальцы на знакомство с иностранкой, но молчаливо было недовольно. Прямо запретить

свидания им не могли, так что для порядка надо было соблюсти проформу. И как-то раз, когда они встречались здесь, его «хватались». Он получил взыскание и до конца недели управлял веселой разбитной пятеркой таких же штрафников на кухне. Все было проще некуда: перед увольнением в запас другим такие вольности сходили с рук, но приключению с «хорошенькой полячкой» многие завидовали.

– Смотри, какой дивный закат?

На кряже, открывавшемся в прогалине деревьев, пшеничный каравай солнца скатывался в оцепеневший, как пригорюнившийся на заходе лес; на дальних склонах, куда пока еще ложились догорающие лучи, между стволами елей можно было разглядеть валежник.

– *Nadzwyczaj dziwno, jakby aplikacja!*³ – критически заметила она.

Покинув парк, они пошли по прилежавшим закоулкам – петляя и оглядываясь, точно злоумышленники. Обоим это было неприятно, но предосторожность в результате окупалась, – дабы уж не подвергать себя опасности и после беспричинно не корить друг друга, нарвавшись, как однажды, на патруль. Едва ли в Анжеле была такая ревностная католичка, какой она себя считала. Скорее с её пламенной натурой он мог представить её жрицей, быть может, где-то в капище друидов или в храме Весты (о чем он ей не говорил, понятно, чтобы уж она ни мнила о себе Бог весть чего). Но в этот раз она намеревалась всё-таки сводить его в костел. «Тем более что он и сам однажды говорил чего-то вроде, да?» Ранее из-за его кавалерийских самоволок ей якобы никак не удавалось сделать это. И думая, что в этот раз получится, она весь день скучала и ждала.

– Вчера у тёти Евы были гости: то ли урбанисты, то ли пейзажисты, – замаливала она свои грехи. – Один, с такой кудрявой бородой, встал передо мной как верный рыцарь на колено и сказал... Признался кое в чем. Ну, словом, вот. Имей это в виду!

Шагая рядом, она шутила будто через силу. До этого он все же рассказал ей о своем отце. Слушая его, она всё теребила медальон с иконкой на груди: закрытый крышкой с гравировкой и на витом шнурке спускавшийся на грудь, тот был при ней почти как у архиерея панагия. Понятно, что с учетом ее возраста образ был значительно преувеличен. Но дай ей только волю и будь это возможно, как ему честолюбиво представлялось, то в иерархии иных чинов, надмирных, она имела бы не самую последнюю ступень! И перстень, расчленившимся колечком, на ее согнутом в суставе хрупком пальце светил голубоватой бирюзой, когда она крутила медальон. Он рассказал ей всё, что знал, и более они о том не говорили. Да, девушка сейчас совсем не так шутила, когда на пару с ней хотелось рассмеяться, забыв о службе и о времени. Но он уже привык к таким метаморфозам. Её лицо то было тронуто какой-нибудь низвергнувшейся с небес кручиной (причину этой горести она держала при себе, наверно думая, что тут необходим проникновенно женский, нерациональный склад ума, и сразу подставляла ему губы, если он расспрашивал), то, как озёрная стальная гладь в просвете облаков, что никогда нельзя было предугадать, капризно расцветало. Бывало, они выходили на свою аллею в парке. И шли в обнимку под каштанами по опадавшей прямо на глазах и виражами стелющейся под ноги листве. Окрашенные цветом приближающейся осени, листья иногда как за компанию срывались с веток парами, печально и торжественно кружась в своем прощальном танце, но падали на землю врозь.

«Видишь, они тоже жертвуют собой!» – живо восклицала Анжела.

С этими словами она брала его степенно под руку и становилась чрезвычайно озабоченной. Дорожка, по которой они шли, спиралью опоясывала холм и проходила возле романтической, увитой жимолостью с лазающим циссусом, ротонды перед кустом корявой, ядовито-сочной бузины. Здесь было гибельное и для обоих достопамятное место. Они, смеясь, смотрели друг на друга, но чаще продолжали путь.

³ Довольно странно, будто аппликация (польск.)

Бывая в патетическом настрое, хоть это очень мало отличалось от других ее забав, Анжела не уставала декламировать стихи на польском. Чего-нибудь из Тютчева или Ярослава Ивашкевича, своих *шановных* пиитических кумиров, разнохарактерных, но как-то совмещавшихся в ее душе.

Plejady to gwiazdozbiór już październikowy:
Wypływa nad horyzont ciemno i okrutnie
I patrzy na schylone, zadumane głowy,
Na połamane brzozy i pobite lutnie.

Przechodzi i o świecie drży nad moim domem,
Posyła promień cichy, ale przenikliwy,
I głosem mówi do mnie, i takim znajomym,
Że może jest kto jeszcze na świecie szczęśliwy.

Художественного перевода этих строчек он не знал, поэтому воспринимал их, как и всё из той поэзии, которую она читала, насколько понимал язык и главным образом по вложенному в строфы смыслу. (Плеяды – вот созвездие, которое уж в октябре: \ они встают над горизонтом смутно и жестоко, \ и смотрят вглубь задумчиво опущенных голов, \ на купы сломанных берез и искалеченные лютни. \ Они являются и на заре дрожат над домом \ и посылают луч пронзительный и тихий \ и слово молвят мне, и голосом таким знакомым, \ как будто есть еще на свете кто-нибудь счастливый).

Анжела читала их отрывисто, с оттенком легкой горечи, как ностальгии, которая была в 17 лет откуда-то знакома ей. Рассказ «*Sérénité*», который был написан Ивашкевичем как исповедь и был овеян задушевной меланхолией воспоминаний, по ее мнению, уж содержал в себе предчувствие конца пути, горькую гримасу от бессмысленности близящейся смерти и вместе с тем ее желание. Она считала, что каждому дано такое чувство. Но если человек осознает это без паники, – не отдает себя на волю парусов несбывшихся надежд, всего того, чего уж кануло и более не возвратится, то может так же, как и Ивашкевич, растянуть свой век. Но это редкость, думала она, поскольку все уж учтено, начертано на жизненном пути заранее. Когда она об этом говорила, то кажется, ей было жаль не своего кумира, прожившего и долгую и полную коллизиями жизнь, а тех людей, которых вовсе не затронула беда, и не коснулись в жизни испытания. А значит, как она считала, эти люди не могли принять таким и цену предначертанного, то есть не могли смириться со своей судьбой, чтоб не одурачивать ни своих близких, ни самих себя и не впадать в последние дни в пошлость. Сказав это, она тогда заметила его недоумение и усмехнулась: «*Tak prawdziwie*: предчувствуя финал, такие люди начинают суесться, пускаются чего-нибудь наверстывать. Я думаю, что это пошло». Да, – и наиболее прискорбным, по мнению ее, являлось то, что многие не могут или же боятся с достоинством взглянуть на жизнь, что пройдена, будь это вешний марафон или осенняя распутица. Сердце у них говорит одно, они хотят другого, чувства разуму противоречат и, что б они ни предпочли, всё у них не сходится. К этой же когорте – *niemądrych*⁴ – она самокритично причисляла и себя. «Душой мы понимаем все, но почему-то прячемся в самих себе, стыдимся. Порой, я пропадаю от себя – от той, какую знаю, какой и ты меня, быть может, видишь. И созданный мной мир тогда висит на волоске!»

Она рассказывала, что *это* к ней пришло в исходе долгой хвори, когда она уже подлечивалась в летнем санатории у моря. Там было вдоволь всяких игр и прочих вольностей (*wiele wolny*). Но она сторонилась сверстниц. Удрав, взбиралась на покореженную молнией сосну у

⁴ бестолковых (польск.)

дюн и наблюдала. Неистово kloкочущий прибой смущал и завораживал ее. Чело и грудь овеивало влажным ветром. Она вся отдавалась этим ощущениям, теряла чувство времени, вверяла себя медленному ритму сердца, которое нашептывало что-то о судьбе и карме. Через мгновение ей уж представлялось, это ветви, что вокруг, картавя, разговаривают с ней. Она пыталась разгадать, о чем они бормочут, впускала все их шорохи в себя, вдыхала опьяняющий насыщенный смолистый запах. И старая скрипучая сосна вдруг замирала, более не двигала своими шелушащимися ветвями, словно бы сама прислушивалась к ней. И так она сидела и сидела, в мыслях разговаривая с деревом, слушала сосну и что-то отвечала той. Потом перед глазами точно лопался пузырь. Мир в своих красках возвращался. И всюду разносился жалобно-мятежный птичий гомон.

Что было в этой девушке такого, что он никак не мог понять? и только эта ли малоприметная невнятность, какая-то болезненная черточка натуры так располагала, очаровывала в ней? Совсем ещё подросток, она всё наполняла своим светом, её простые по значению, такие вроде заурядные слова ложились точно миро на душу. И за одно уж это он был благодарен ей, в общем-то, обязан был отцу, случайности, и должен был благодарить судьбу, которая свела их вместе. Но Анжеле всегда чего-нибудь недоставало, она была не по своим годам честлюбива. И как жар-птица из неволи влекла с собой неведомо куда, где было всё иначе, как она воображала, и где она была, с изрядным перебором мня тут о себе (да уж простится ему это!), уже единовластной повелительницей дум и госпожой. Когда она внезапно умолкала, мысленно переносясь в волшебные, лазоревые дали той страны, то сразу вся преображалась. Возможно, и загадка и разгадка были в этом?

– Ты думаешь, что слушаешь меня? – легонько тронула она его за локоть. – Ты снова думаешь об этом дне, когда ты опоздал на похороны? *Jeszcze troszkę*, мы пришли.

Костел был окружен соседними постройками. С зажатым между ними стрелчатый портал и красноватой, скрадывавшей день смальтой в вытянутых окнах, он в первую минуту показался небольшим. Дневного, проникавшего внутрь света и скрытого источника у алтаря едва хватало, чтобы осветить часть утвари за кафедрой и ксендза, темноволосого мужчину без биретты, в белой альбе и издали казавшейся как запеченный творог казуле.

Ближние к ним скамьи были заняты. Наверное, нервирова священника своим небрежным дробным цоканьем по полу, они прошли вперед и встали в центре сумрачного нефа. На католическом богослужении он был впервые. Проповедь была на польско-украинском, поочередно шепелявя и воркуя гласными. Он плохо понимал язык и пробовал прислушаться к себе, как этого хотела Анжела. Она стояла подле, трепеща, стораая вся от нетерпения, ждала, как он примет все увиденное здесь. Была ли она искренна тогда, задумав эту жертву? Её вспотевшая ладонь была напряжена, то чуть-чуть подрагивала в его пальцах, то сжималась. Томящее волнение ее руки передавалось его сердцу. И как сопряженный с током её крови, протяжный и елеинный тенор клирика слегка вибрировал, то возвышался, то спадал. И от распятия суровое лицо отца глядело. Но выше – точно шестикрылый серафим подхватывал и возносил к небесному шатру над кафедрой.

Кто смог бы объяснить случившееся, – все то, чего произошло тогда, за много лет до этого и позже? Или он напрасно укорял себя и просто не сумел постичь того, что было связано с трагедией отца, с последующей драмой в отношениях родителей? Что означали, скажем, эти люди в «куколях и армяках», что собирались раньше в доме, как для того чтоб похристосоваться и обогреться? Он этого не понимал тогда, также, видно, как не мог уразуметь и некоторых других, накрепко запавших в душу, все еще смущавших эпизодов детства. И можно ли одним усилием по своему желанию предотвратить чего-нибудь, когда ты знаешь это наперед? – Всю жизнь ломал он голову над этим! Сквозь слякоть, мглу и проповедь, – в великоватой материнской кофте, вышитой раскрывшимися маками по полю, и в зашнурованных тесьмой ботинках, торчавших точно не свои из-под дырявого куска рогожи, зачем-то ехал с отцом в

деревню. Возничий – кривой и отвратительный старик в набрякшем балахоне, видимый ему лишь, со спины, с остервенением хлестал круп увязавшей в жиже лошади. Укрывшись краем тою же рогожки, отец сидел у передка, в наваленной, потягивавшей прелым выгоном соломе. Сидел, сутулясь, в надвинутой на лоб ворсистой шляпе, точно грач. Отец казался в ту минуту нелюдимым, отстраненным и чужим. Сидел и ёжился как от озноба. И каждый раз, когда кнут с присвистом взлетал, его лицо мертвело. Детское сознание, каким оно в то время было, – еще не испытывшее лихой беды, поэтому не ведавшее цельной зоркости и сострадания, щемило чувством брошенности: отец как позабыл о том, что у него есть сын, не знает даже, где и сам сейчас, витает в своих мыслях. А позади, куда ни глянь, все поглощало глиняное месиво проселка за телегой и та, скрипя ступицами, всё ехала и ехала. И не было конца ни нудно моросившему дождю, ни взбухшей, точно овсяной кисель, дороге. Отца, казалось, тоже больше нет; был только этот устрашающий погонщик. И отзвуки кнута над сивым крупом мерина дуплетами вонзались в уши через ломивший зубы перескрип колес. Спустя пятнадцать лет в незавершенном дневнике отца, как выдержку из литании он прочтет: «Из Месопотамии, через Египет, оно вбирало и вбирало, и если след его путь вечной Колесницы, то жизнь и смерть – как вмятинки под ободом её». Возможно ли, чтобы отец уже тогда предвидел, что произойдет? И на другой странице было: «И тогда, в полном отчаянье, они возводили себе всё новые виселицы, ибо бывшие уж обветшали, кренились под весом тел». Простишь ли ты, отец? Он знал, что расстанется с этой памятью. *«Достоин Агнец закланный принять силу, и богатство, и премудрость, и...»?* Голос, бестелесно вопрошающий, пресекался; боль собралась у кадыка в тугой комок, в глазах все расплылось, нечаянно пролились слезы, он ощущал их горечь на губах, но удержать рыдания не мог. И тут вовне произошло чего-то, точно разом рассвело вокруг, заговорило, исполнилось неувядаемой любовью всепрощения, рождения и созидания. И как не стало мрачноватых сводов нефа; внутри костела разлилась тягучая мистерия органа. От сердца отлегло. И несказанно добрый свет повсюду заструился.

Мгновение спустя он вновь увидел впереди упрямую фигуру ксендза. Соперничая с ним, от Анжелы происходил не обжигающий живительный огонь. Всё было в нем. И в Анжеле и нем. И это находилось и внутри и вне каждого.

Миг или столетия прошли с тех пор, как это точно вычислишь и скажешь? До часа настоящего вне временной, не связанной с его чеканной поступью субстанции, он неохотно и нечасто спрашивал себя об этом: не оборачиваясь, просто шел. И этот, некогда воспринятый им свет, сошедший вглубь души под храмовыми сводами, по-своему оберегал. Бывало, что в упадке сил он всё же отступал от Анжелы, того дарованного ей света и огня, непрекращающейся жажды жизни, поиска в той своей кармы или смысла. Думая, что отступает от себя, жалел – и снова обретал, мнилось ему это или нет, как чудо.

Когда, окончив пятый курс, он был успешно аттестован в качестве экономиста в плановом отделе, который после социальной линьки тоже значимо преобразился и начал щеголять пушком коммерции, с нарочным ему вручили телеграмму. Та была как сброшенный неразорванный фугас – и лаконична и вместительна по содержанию, без точных реквизитов отправителя и на правительственном бланке: *«Лиха беда начало молодежи»*. Он не был до того наивен; и все-таки, прочтя, так и не успел порвать ее. Великим стряпчим и провидцем был тот аноним!

Здесь по житейским правилам стоило бы сделать передышку, – присесть бы где-нибудь на бережку в тени ракиты, окинуть взглядом волжский окоём и призадуматься. Кажется, он так и сделал. Но прежде надо описать еще одно событие. С тех пор всё то, что раньше изредка покалывало сердце, уже как лопнувший волдырь саднило на душе и, если б не несчастье, то, может, так и пролежало бы себе под спудом.

После злополучной телеграммы от Трофимова мать прожила совсем недолго: слегла и больше уж не поднялась, простыв. Она угасла на его руках и отошла без мук, умиротворенно

тихо, перекрестив ослабевавшим взором на прощанье. Ушла как осененная той мыслью, что сделала для блага чада всё, чего могла.

Из близких родственников в городе у матери была не то племянница, не то двоюродная, по отцу, сестра, которая у них ни разу не бывала. Её фамилии и адреса Статиков не знал, при этом был уверен, что и узнавать не надо. И всё же проводить мать так же незаметно, как она ушла, не получилось.

В день похорон кроме сослуживцев от профкома, тепло и терпеливо выражающих сочувствие, неожиданно и нежданно пришел Малинин, его сокурсник и сосед. Статный, остроглазый как джигит, притом отчаянный кутила и повеса, он был в двубортном удлиненном пиджаке, добытом, видно, где-то на прокат; в черной, наглухо застегнутой рубашке и с белыми гвоздиками под пленкой, которую он, угловато отвернувшись, тут же снял. Вошел – и, не решившись подойти, застыл в дверях, насупившись и хладно рдея... С таким скорбящим выражением его, наверное, еще никто не видывал: как лермонтовский кающийся демон.

Вслед за Малининым, с которым они в эту пору еще не были приятелями, начали сходиться женщины в повязанных шалашиком и узелком затянутых платках, с однообразной поувядшей зеленью, со всей округи. Все они, оказывается, знали мать; покачивая головами, и шепотком осведомляясь друг у друга, будут ли *сначала* отпевать, рядом рассаживались у стены на припасенных стульях.

Уже в последнюю минуту, что простиралась в чувствах много дальше мыслимых границ, куда-то в брезжившую лунным светом бесконечность, он в полузабытьи отметил, как двое неизвестных с четкой непартикулярной выправкой, нелепо как-то выделявшейся у гроба, бережно внесли корзину, полную живых, как только срезанных нарциссов. Наклоном головы с равно одинаковыми стрижками под полубокс они со всеми поздоровались. Затем, окинув взглядом комнату, поставили корзину к двум венкам в углу, переглянулись и, скупно поклонившись, вышли. Синклитом женщин это не было одобрено: старушки сделали глазами реприманд на дверь и учащенно зашептались.

За этим происшествием никто не обратил внимания, что траурная лента на корзине по-прежнему завернута концами вверх, к дугобразно вытянутой ручке. Расправить ее в спешке позабыли, а те, кто был поближе, сделать этого не догадались. Внезапно вся она пришла в движение, – шелк, точно полоз, заскользил над перевитым круглым ободом по лепесткам; пестики внутри точились влагой, переливаясь как росинками, и было что-то завораживающее в их редкостном небесно-синем цвете. Дымок от смирны перед изголовьем на мгновенье всколыхнулся: мать, будто улыбнулась в своем ложе.

«Любящей, преданной, любимой», – по смыслу можно было разобрать на ленте.

Чьей это было эпитафией? За что это ему досталось в скорбный час? И как он будет с *этим* жить теперь? Жизнь издала тупой короткий стон, но продолжалась. У жизни, разумеется, был свой резон. Сквозь набежавшую слезу, он видел, как Малинин подошел и распрямил провисшие над ободом концы. Теперь они располагались строго симметрично, и в лицах женщин теплилась сердечная признательность за это. Когда гроб вынесли, на улице ждала толпа сокурсников, которые явились вместе с Гришей; слов не было, в памяти остались только лица. Ну, вот и всё. И всё на этом... Как забальзамированный временем клочок воспоминаний.

Стояла сухая звонкая осень.

Здесь, милостивые судари и государины, нам предстоит вернуться вновь почти к началу изложения, к его истокам. В сознании героя – на самом деле одного и исключительного персонажа этой драмы, время и события образовали в передаче ощущений свою вязь, мозаику на первый взгляд разрозненных явлений, чему, нетрудно догадаться, он был обязан своим состоянием; но лишь отчасти. Для самого него это было объективной данностью. Порой он будто грезил, но распоряжался этой данностью по своему желанию. Физически он был на месте, но

силой мысли постепенно двигался вперед, туда, где видел луч надежды, где было избавление от грез, от самого себя, каким он раньше был, и от ярма изменчивого времени.



«Напой меня вином и молоком! Я принимаю это приношение!» – Следуя обычаю, сидевший у окна мужчина спустил пижаму с левого плеча и пару раз дарил по щекам себя.

Он был по-прежнему один, в потрепанных больничных шароварах и безразмерных тапочках на босу ногу. Для большей убедительности можно было бы и это снять, включая ударявшую в нос хлоркой майку: местная котельная, как возмещающая упущение за целое столетие, чуть не до самой Троицы работала исправно. Все объяснялось вынужденной мерой безопасности. В двери был смотровой глазок, которым для острастки пользовались санитары. От долгого бездействия им становилось невтерпёж и между пулями гусарика на сигареты или пиво являлась сильная охота поразмяться. Хотя в такую рань, подумалось, едва ли кто-нибудь испытывал желание в филейном положении стоять с той стороны. На всякий случай, все же сделав то, что полагалось, сквозь перекрестье прутьев на решетке он приложил ладонь к заиндеветшему стеклу. И обождав пока короста высадившихся за ночь льдинок не подтаеет, для бодрости провел рукой от темени к затылку по неподатливо колючим, сжатым под машинку волосам. Время – то, что называлось им в цепи ассоциаций, летело тут во весь опор как чистокровный борзый аргамак, или как еще об этом говорят – *стрелой из лука*, поскольку все, что виделось, осуществлялось.

Снаружи рассвело. Он взял валявшийся на тумбочке листок календаря, излюбленное чтиво Голубого: их с Розовым предупредительно, в сопровождении всей челяди, перевели сюда; причину этого хотелось бы понять. "14, февраль, понедельник. Восх. 7.59 Зах. 17.30". Бумага, он заметил, была низкосортной, сероватой, с косоугольными древесными вкраплениями на просвет, по кромкам пожелтевшей, но не мятой. Такие отрывные численники нигде уж не использовались. Но Голубой был наблюдателен: должно быть, где-то завалилось, – выклянчил, пообещав чего-нибудь взамен; или как обычно мимоходом раздобыл. Предмет его симпатий, впрочем, озадачивал: тот, кому все заведенные порядки нипочем, вряд ли возгорит желанием встречать по расписанию закаты и рассветы. К тому же, если полагаться на параграфы анамнеза, то романтично экзальтированные чувства этого субъекта гелиоцентрическая кухня мало занимала. Взглянув еще разок на дату, он перевернул листок. "Как будет первое лицо от глагола *стонать*?" Лицо Голубого – пожалуй, что во всех возможных отношениях, чего для здравого рассудка может оказаться не вполне приемлемым и странным, – было точно глиняный кувшин с водой, который целомудренные девы на картинах, одной рукой придерживая, носят на плече. Внизу был сокращенный энциклопедический словарь для цветоводов: азалия, герань, магнолия, мимоза... и *нарицис*. "Род травянистых луковичных семейства амариллисовых, с бел. и желт. цв., клубни ядовиты, многие виды разводят как декоративные. С пом. селекции..."

Однажды ночью Голубой вскочил, – случалось это в пору луговинного альпийского цветения, с неукротимостью влекущего его к соитию и вызывавшему комический конфликт с самим собой, – спустив штаны, застыл перед обломком зеркала, которое украдкой прятал под подушкой:

«Приснилось, что пуповина развязалась!»

Ощупывая свой живот под выступающими ребрами, он продолжал постанывать, униженно поглядывая по сторонам и что-то мямлил о ночном кошмаре. Дремавший Розовый очнулся и, изловчившись, треснул Голубого по зубам.

«Вешали таких!»

Его лицо, и без того не источавшее земного обаяния, перекошило от прилива чувств. Он был того же роста, что и Голубой, гораздо менее проворен, но силен. Едва оставшись вместе, они дурачились, чего-нибудь не поделив, бились об заклад и спорили. Когда за окнами стояло ведро, то Розовый старался спрятаться в теньке, в котором ему становилось много лучше, как он уверял неразговорчиво-ворчливых санитаров; но все равно бывал – угрюм и молчалив. За день до этого, когда он собирал бруснику на опушке, так Голубой часа четыре допекал его вопросами о сублимации психической энергии и чувстве левитации, которое, возможно, *кто-нибудь* еще испытывает при длительном униполярном сексе. Прочесывая правой горстью по кустам и набивая ягодами рот, Розовый выслушивал все эти диффамации, так как не имел возможности ответить. А у него наверно уж порядком накопилось! В отличие от Голубого он был не больно впечатлителен и, если наносил побои, то не терял контроля над собой. Еще случавшимся, но вроде шедшими на убыль, приступам его агрессии никто не придавал того значения, как ему хотелось. Врачи считали, что у него так проявляется синдром влияния и мимолетная акинезия. Розовый запомнил эту фразу при обходе, когда неволей случая ударился обритой головой о стену, и на ночь повторял с тех пор, чтоб не забыть. В языкознании, да и в естественных науках, он был не прыток, но смышлен, и если узнавал чего-нибудь, в чем видел для себя профит, то сразу же старался это применить. Внутренне Розовый и Голубой друг друга дополняли половинами. Все их фортели и лихие потасовки в точности нечасто повторялись. Розовый был тверже Голубого, поэтому на продолжительных дистанциях проигрывал. Но что бы там ни говорили, а эта показная, будто бы взрывная ненависть меж ними, возможно, отражавшая многообразие природы, была не горячей и не холодной, а сама по себе, как привычка – ходить, есть, пить.

Голубой, с прискорбным умилением разглядывавший в ту минуту свой пупок, от щедрой оплеухи своего собрата отлетел, но зеркала не выронил; даже не заметил, что порезался. В общем-то, он был чувствителен и незлобив. Женщинами, как и цветами, пока его весной ни скручивало, он наслаждался тоже эстетически: летом мог целыми часами наблюдать, как они фланируют под окнами в своих фланелевых халатах, обхваченных фалдой пуховыми платками ниже поясицы, или – в полихромных целлюлозных полушалках, прицепленных булавкой на груди. Но если его кто-нибудь не пестовал, значит – презирал. Розового же, который был охоч подраться, то есть за малейшую обиду тут же воздавал физической немилостью, а на прекрасный пол смотрел иначе, с присущей ему долей скепсиса и пессимизма (чего по мере сил старался скрыть от вездесущих и красивых глаз сестры), такая утонченность Голубого плющила и заводила. При этом если посмотреть на них не так предвзято или, например, через другие стекла, то Розовый мог делать то же, что и Голубой. Но если у последнего на бессознательном причинном уровне была своя руководящая, должно быть, впитанная с материнским молоком основа (такого слова как «мораль» он попросту не знал), то Розовый, ссылаясь на мораль, всё совершал по *справедливости*, или, как он говорил, – по установленным самим же им еще на воле эмпирическим законам. Он уверял, что проявляет еще сдержанность, когда воспитывает младшего собрата-недотепу, однако выражение «физиогномический синдром» для описания их отношений, думается, лучше подходило. Похоже, когда он наносил побои Голубому, то ожидал, что тот от оплеух изменит цвет.

Но инцидент на этом происшествии не завершился. Вошла сестра: она была всевидяща, чуть что – и тут же появлялась как десница правосудия во всем своем сиянии и блеске. Сочувственно покачивая головой, она взглянула на обоих и с укоризной встала у растерзанной кровати. Подушка была в двух местах прокушена сквозь задубевшее от влаги содержимое; и жева-

ная простынь на полу... Сестра была заботлива, без долгих слов все прибрала. Затем ее рука нащупала в кармане бинт, который она по дороге незаметно вынула из шкафчика у старшей медсестры. В душе она была удручена случившемся: на расхищение казенной собственности ее стыдливую натуру повело впервые. Ей было неспокойно в этом необжитом образе. Но, в сущности, она нисколько не раскаивалась в совершенной краже. Бинт был стерильным, хирургическим и лимитировано-дефицитным, отнюдь не предназначенным для миротворческих задач. И все-таки она была уверена, что он ей может пригодиться.

Невелика пропажа, ясно, а всё не стоило бы так вот, с краденым по отделению ходить!

Окинув его леденящим взглядом, она достала все же этот бинт. Суровой нитью разорвав обертку, сняла бумажный колпачок, вынула спрессованный рулон и начала его разматывать. Ей было неудобно навесу, поскольку Голубой размахивал руками и кривлялся. Она погладила его по тощему плечу, во время стычки с Розовым ушибленному краем тумбочки, и попросила, чтобы он прилег. Склонившись у постели, чтобы он не ныл, она забинтовала ему весь живот, который чуть кровоточил у пуповины: один слой марли наложила и другой. Затем сама присела тут же, разве только не воркуя, ровно голубица. Она жалела Голубого как сестра и интуитивно наделяла это чувство еще трогательной материнской ревностью (качество, коли уж на то пошло, которое в лечебном учреждении так сразу и не встретишь!). Но дюжий Розовый, охальник и злодей, её натуре, как ежевичное суфле в броне, понятно, куда больше нравился. И Голубой сомлел, довольный, что не привязали к койке. А Розовый, прильнув к ее груди, как бы пристыжено залепетал: **«Вот я пришел к тебе и принес тебе правду. Я не поступал несправедливо ни с кем: я не творил зла вместо справедливости, я не насиловал, не убивал. Я чист, я чист, я чист!»**

Это отступление тогда из осторожности он не довел до сведения сестры, имеющей повадку снова заходить, когда цветная пара, всласть покурлесив и поиздержавшись за день, засыпала. Но всё услышанное ранее, в аутентичном изложении и без купюр, она заверила своей печатью, позволив ему указать и дату, которую он вывел, хотя и отступив от строгих правил, хранимым под кустом терновника, всегда готовым, хорошо отточенным каламом: «Дано в канун посмертного Тридцатилетия, того же дня, 2-го месяца Ах-эт».

Для тех, кто любит дома мастерить и думает, что каждый навык в жизни может пригодиться, он должен пояснить: калам был изготовлен им из веничного сорго при помощи расплющенной столовой ложки, ржаного мякиша и старого гвоздя. Всё остальное Голубой мог выдумать, но в этом он бы мог поклясться, если б попросили.

Глядя на оконное стекло с замерзшим оттиском своей ладони, он выпустил листок календаря из пальцев и, опустив глаза, смотрел, как тот планирует и падает изнанкой вниз. В отличие от истовых, но заживевших надзирателей сестра была всегда на страже. Пусть думает что хочет, только бы не ворожила взглядами, не забиралась со своими калачами в душу. Она не знала, как там отвратительно. Да, жизнь была как кисло-сладкий многослойный сэндвич, и приходилось его есть. Еще таблетки с подлостью, чтоб в голову ничто не шло; борьба с самим собой, стихийные бои за выживание. Но по утрам до завтрака он все же размышлял. Забот у персонала здесь хватало, сестра могла не относиться так участливо к нему и к этой паре. В присутствии врача она вела себя совсем не так. Была какая-то хиазма с каждым появлением ее. В каждый свой приход, она чего-то взвешивала про себя, соображала. Пока он находился здесь, доподлинно узнал одно: раздумья обладают запахом и вкусом. В тот раз, когда она ушла, он снова ощутил это в себе. Увы, но более реальный взгляд на вещи даже за пределами больницы острога не дается даром. Когда он вспоминал о той беспечной жизненной поре, ему казалось, что он отлично знал ту девушку, которую однажды встретил, еще намного раньше, до знакомства. При этом знал ее гораздо больше, чем она сама могла подумать о себе. Должно быть, это восприятие возникло позже, когда меж ними появились трения, поэтому возникли разные причины для раздумий. Известно, чтобы уберечь какой-нибудь реликт сознания, чув-

ства часто делают окольную петлю в нем. Переосмысление себя среди цветущей на стене растительности; переосмысление самой растительности и заодно всего, что есть... Память, между прочим, тоже хитрая штуковина. Вот, в меру своей уникальности и образ получался как бы собирательный. Стилистика письма плюс льстивость языковых единиц из словаря: *казалось*, *кажется* и снова – *может быть*.

IV. Елена

Не-тот и тот, кого она любила: стройный, смуглый, с густыми вьющимися волосами и *византийским* (где-то она вычитала!) профилем брюнет, отличный спортсмен, тайно-заядлый игрок в преферанс в укромных уголках амфитеатром забирававшихся под самый потолок и поутру считающих ворон аудиторий. И ко всему – неотразимый сын всеобщего секретаря обкома, слывшего галантным покровителем наук, был всеобщим кумиром женских сердец и безотказной Архимедовой опорой все более входившего у абитуриентов в моду университетского *промэка*.

Собственно, Мишелем стала называть его она: все ординарное к нему не подходило. Друзья же, Испанец и Лапа, «рыцари плаща и шпаги», между собой величали Кручнева – *Крис*. Тут было что-то чрезвычайно личное: может, из прошедшего римейка про ковбоев, который она тоже видела, но что не обсуждалось, или что-нибудь еще такое. Но что б о нем ни говорили после, это имя не имело ровно никакого отношения к малайскому кинжалу!

Елена еще в школе была наслышана про это братство, да и жили они по соседству. Судя по молве, все трое составляли интеллектуальный клан неприкасаемых: дав клятву верности, стеной стояли друг за друга, от своих сверстников держались в стороне и больше никого в свой элитарный клуб не принимали. Зимой они все вместе занимались в легкоатлетическом манеже, великолепно были развиты физически и, несомненно, даровиты: от школьных физико-математических олимпиад с почетными призами и подарками, что было для людской молвы настолько притягательно, насколько же непостижимо, до юниорских состязаний в фехтовании и каратэ. А вот...

– Копеечка, *Кристос* внизу! – смешком передавалось в классе от окна в конце уроков.

Заносчиво-грудастая не по уму и неразменная, Копейкина как мартовская кошка тут же выгибала спину.

На вкус Елены она была, пожалуй, что излишне тучновата, как рано повзрослевшая и переевшая рахат-лукума конкубина: ходила в розовых чулках, бахвалилась своей набедренной татуировкой с двумя лобзавшимися голубками и несмываемой губной помадой в туалете. Перед своими однокашниками вечно задирала нос, а с теми, что постарше, флиртовала. При этом строила такую маменькину цацу, недотрогу, хотя в портфеле у нее всегда была зубная паста и запасной комплект белья. Парням она пускала пыль в глаза. Кому-нибудь ее дебелость нравилась, быть может. Но что касается Елены, ее вид этих рубенсовских форм не восхищал. Однако же она была оскорблена, когда глядела на Копейкину. Не так оскорблена, как озадачена: все то, чего должно было по праву причитаться ей, той удавалось получать и незаслуженно и без труда. Вне школы эта пава красилась и от налета ранней зрелости в лице выглядела лет на двадцать с гаком; жила, видать, не думая о том, чего с ней станет дальше. Вот. Просто этой милочке пока везло. И не было бы никакой нужды так много места уделять такой особе. Но и в других аспектах изысканий, чего касалось всей компании, о чем уже шептались девушки, прогуливаясь парами между уроков, и распевали соловьи по всей округе, ее догадки скоро подтвердились.

Возвращаясь из кружка бальных танцев, она однажды заприметила свою соперницу в соседском сквере на скамье, между Испанцем (он был как вылитый кентавр: широкогруд, ушаст, внушительно приземист и рыжеволос) и долговязым Лапой. Их руки в смену упражнялись под подолом. Первым лез под юбку, видимо, по росту Лапа. А за ним Испанец. Так что пальцы одного другому не мешали и ненадолго, точно тараканы, оставались там. Чувственно дополнив всё недостающее, Елена подглядела это издали, идя по стёжке за деревьями, которая тут пряталась в кустах. Естественное любопытство взяло верх, укрыв ее под пологом ветвей.

И пять минут, забывчиво покусывая губы, она стояла и смотрела из-под краснеющих гроздей на тороватую Копейкину, которая легонько отбивалась, ерзая и дрыгая меж наседающих парней своими голыми ногами как на гимнастическом снаряде, и слышала ее ломавшийся бедовый голосок. Привстав на цыпочки, чтоб лучше было видно, она едва не оцарапалась о сук, испачкала лицо. Совсем забыла, где находится: боярышник был марок и колюч. Затем, решив, что делает чего-то неприличное, шагнула в сторону, поморщилась и отвернулась с холодком. Копейкина ее не занимала больше, при виде той потом ей делалось неловко даже, ну, вроде жалостливо как-то и смешно. А про себя она отметила: Кручнева там нет.

В памяти осталась встреча перед школой, когда он ненароком оказался в полуметре от нее. В серебряный отлив убийственно черноволосый, складный и вихрастый как цыган, он миглом выделялся из любой толпы, которая его все время окружала; но самого его внимание других как будто бы нимало не захватывало. Ну да, такая знаменитость, значит, – сноб и франт! На нем была всё та же джинсовая тройка (она уже отметила: он к этой амуниции имел такую стойкую привязанность, что никогда не расставался, и на ночь так уж не снимал!) и от него был запах терпкого иланг-иланга. Ей навсегда запомнился тот горьковатый, взволновавший чувства запах. Но сам он почему-то показался заурядным, будничным тогда. Елена не могла понять, что на нее нашло, но это впечатление ее задело. Она потом все возвращалась к этой сцене, которая ее не то расхолодила, не то ранила. Да, временно расхолодила, будто. Но так и не решила ничего.

Так вот. Он сам стоял с Копейкиной в дверях. Когда Елена проходила – похожая, наверно на Мальвину, с торчащими кудряшками и в этой своей плисовой юбчонке с таким большим вишневым поясом, что ног, поди, уж и не видно было, – он как с картины проводил ее вниманием своих масляных глаз.

«Ну вот!» – подумала она.

Затем начался беспрсветный штурм учебников, – сначала перед выпускными, потом перед вступительными экзаменами. И Елена, слава Богу, позабыла обо всем. (Хотя, о чем она могла забыть? чего такого, скажите-ка на милость, знала?) Но все равно, непродолжительно: с Кручневым они оказались на одном факультете. Встреча была как в кино, из мира грез. Она не сразу даже осознала что к чему; но, дав себе на этом чувстве задержаться, поняла, что ей приятно. На общей лекции – не то по прикладным основам физики, не то по нудным аксиомам матанализа, он тотчас же ее заметил, окинул любопытным взглядом... да и всё. Ходил с тех пор как кот перед горячей крынкой, глазами зыркал издали и выжидал. От времени до времени они встречались, когда он с видом лондонского денди шествовал один навстречу или был в мужской компании или же самоуверенно вышагивал по улице в обнимку с кем-то. Последнее Елену забавляло: и по уму и по своей внешности он был достоин лучшего, но как назло ей выбирал каких-то все прыщавых, немощных и худосочных.

«Я – Золушка, он – принц... судьба?» – посмеивалась она про себя.

Оценивая свои шансы и прикидывая, что да как, она меж тем ревниво наблюдала, как на ее избранника заглядываются и строят подступы другие. Если уж сказать начистоту (в своей душе она порой самоотверженно пускалась в это плаванье), то самолюбиво-мелочной досадой на какую-нибудь глупенькую пассию, еще одну Копейкину, тут и не пахло. Да, обиды на соперниц не было. Но нашатырный привкус класса оставался. Золушкой, при всех возможных добродетелях и совершенствах той, ей вовсе не хотелось быть. Она бы ей и не была: до этого, еще в восьмом или девятом классе, она во всем стремилась быть похожей на Ассоль, мечтательно-честолюбивый персонаж любимого ей Александра Грина. Подхваченная авантюрным ветром «Алых парусов», она прочла все сочинения его от корки и до корки. Она читала и другие книги: знала содержание и новый театральный стиль пьес Чехова, при случае могла блеснуть какой-нибудь цитатой из Толстого, Бернарда Шоу или из Шекспира. Причем, когда она читала, то ставила себя на место героинь, и ей хотелось угадать, как развернулся бы сюжет,

если бы они вели себя не так, как распорядился в книге автор. Мечтая и домысливая что-нибудь, хотя, не возводя это во что-то большее, чем просто развлечение, беря с библиотечных полок часто все подряд, она читала увлеченно и, если сравнивать ее тут с сотней сверстниц, то к восемнадцати годам прочла немало. Да ничего уж не поделаешь со скарбом бедной Золушки. Видать, еще из-за уступчивой натуры в школе к ней приклеился, напоминая как об умышленно потерянном хрустальном башмачке, хотя и с подкупающим «прекрасная», еще и этот ярлычок.

Экзамены дались ей нелегко, преодолев их, она испытывала крайнюю усталость. Но тем сильнее погода в ней ожила и стала изводить, желая будто наверстать свой недосмотр, природы. Верно, у нее была такая уж неправильность, подлая задержка от скрытого врожденного избытка в этом. Всё то, о чем она неоднократно слышала и от своих подруг и много раз читала в ходивших по рукам и откровенно иллюстрированных книгах, отдельные слова и жесты, даже окружающие запахи, стали дерзко наводнять ее воображение и страшно распаляли чувственность. И то, о чем она задумывалась днем, когда читала эти книги, или же мечтала вечерами, когда была одна, с приспешливой несносностью являлось и осуществлялось по ночам: Пан в грезах понаведывался к ней и умыкал. И в каждом сне бывало так: когда он прикасался к ней, она ему противилась, отнекивалась на словах; затем, лозой обвивши его торс, безвольно покорялась. Он относил ее в соседний парк, где рос до отвращения знакомый ей боярышник, без долгих предисловий укладывал на ту же самую скамью и раздевал. От близости его мохнатых крепких лап Елена ощущала в теле зуд. Сквозь сон она ощупывала всю себя, затем, плотней сомкнув глаза, переворачивалась на спину, и сон с того же места продолжался. Они все также тешились и миловались с Паном на скамье, которая была как днище ванной неудобной, тесной. Стоило лечь по-другому, колени всё во что-то упирались. Но тот, кто обнимал ее, был искушен. Чувствуя его мохнатый торс, она и так и сяк ворочалась во сне. И ей всегда хотелось посмотреть, чего и как он будет делать дальше. И чтоб он делал это поскорей, не мучая ее, – и убирался. Пан гладил ее грудь, разглядывал в других местах, затем смотрел в кусты, что были позади, и, ухмыляясь, говорил, что у нее все так же, как и у Копейкиной. Он только гладил ее тело, лазил между ног и как безумный прижимал к себе. И повторял, что у нее «всё так». Но больше ничего не делал. При этом был все время в образе Испанца.

И тут, перед весенней сессией, у нее как нарочно куда-то запропастился конспект с лекциями по математике. Узнав об этом, Кручнев предложил свой. А позже подошел, – она уже подумала, чтобы забрать тетрадь, – и протянул два билета на концерт. Елена не смогла сдерживать улыбки. Вот и все.

С тех пор они встречались. Но и только. Кажется, она поторопилась привести возлюбленного в дом: знала уж, что так получится. Мишель был, правда, вышколен и безупречен, никак уж нечета тем угреватым, с избыточным тестостероном шпингалетам, от домогательства которых никогда не знаешь, как избавиться на улице. Елене нравилась его благовоспитанность, такой не ломовой, долгоиграющий подход ей импонировал. Но не могло бы это сочетаться с чем-нибудь другим? Многие его слова казались лишними, а то так и до самого нутра смущали. Крис говорил, что разом «втрескался» в нее, что у него еще ни с кем так не было, что он ей очень дорожит, но он, дескать, боится разувериться в себе, из-за какой-нибудь промашки потерять ее и всякое такое. Он уверял, что бросил всех своих смазливеньких девиц и видит в ней совсем не то, что было у него с другими раньше. В Елене что-то восставало, когда он говорил в такой манере: она была чувствительна на похвалу, но вовсе не желала знать о том, что было у него с *другими* раньше. Ну, в общем, ей не больно нравилось, когда он говорил о своих прошлых связях, и этим также объяснялись некоторые сложности в их отношениях. Встречаясь с ним, она вся извела от внутренних противоречий. Ее любвеобильную натуру, желавшую заполучить все сразу и без рассуждений, его салонная патетика сбивала с толку. Но Крис, наверное, не мог иначе, не мог ни выделять ее среди сокурсниц, не мог ни расточаться в откровениях и до небес превозносить. Ему хотелось бесконечно петь ей серенады, рас-

хваливать какие-нибудь черточки в ее наружности и каждый день преподносить цветы. И он добился своего, от радости она едва не потеряла голову. Но что касается всего другого, то надо было хорошенько постараться, чтобы без «обид и правильно», как он просил, понять его. Ну да, она могла составить представление, была наслышана о ранней возмужалости его и превосходно понимала, что он не хочет больше лгать, что он, возможно, сожалеет о своих мальчишеских забавах, как и о том, что был нерасторопен раньше... Что если это просто ради красного словца? В сердце шевелились иногда сомнения. И все же, слушая его, она кивала. Бывая с ним в компаниях, она отметила: при ней он всячески стремится самым лучшим образом преподнести себя. Он говорил, что это происходит от любви. И каждый раз, когда он это говорил, то у него происходил упадок сил, и ничего не получалось.

Встречаясь с ним, Елена про себя считала, что знает о нем все, но знала, видно, только то, чего ей полагалось. Мать Кручнева, когда-то модельер и, судя по семейным фотографиям, души не чаявшая в сыне, была жизнелюбивой и коммуникабельной домохозяйкой. Благодаря отцу, державшему его в ежовых рукавицах, Мишель с рождения был обеспечен всем необходимым. С пеленок комната его была завалена игрушками, крутился даже крошечный бельчонок в клетке у кровати. А к самому ему были приставлены кормилица и няня. Потом, когда подрос, он начал посещать занятия с жестокосердным сербским полиглотом воспитателем, который был из старых иммигрантов и, если кто-то отвлекался на занятиях, так не миндальничал, наотмашь бил своей ферулой по плечам. Крис помнил всех троих по именам и вспоминал об этой жизненной поре с любовью. Он говорил, что до сих пор заходит к этой своей няне из глубинки, которая теперь со всей семьей, не без содействия его отца, обосновалась в доме по соседству, и к своему наставнику и от лица семьи делает по праздникам подарки. (Родившийся в рубашке, он воспринимал это как должное: соря деньгами, пользовался ими, но не особенно ценил). Еще, тайком от своего *папани*, – в руках которого, как говорила мать, за исключением жены была вся область, – на лекции он под конец недели приезжал и после этого катал ее по улицам на собственном автомобиле, какие она только на экране видела. Тот был с ликерно-шоколадным баром, хорошей стереосистемой с популярной музыкой и разными другими прибабасами. Крис хвастался, что все ведущие узлы – по спецзаказу, а выпивка и шоколад – без «суррогата и оттуда». Об этих их поездках в двух словах не скажешь. Ну, в общем-то, бывало, они пересаживались, и он давал ей порулить. Она была такая дурочка, что сразу же сникала, когда он начинал показывать, как надо нажимать педали, всякие там рычажки и прочие штуковины на этой чертовой, мешающей его локтям, напротив ее ног, панели управления. И без оглядки верила всему, чего бы он ни говорил! Еще за городом в бору у них была обкомовская дача, а в центре города – квартира с целый ипподром. Но избалованный вниманием к себе, он никогда не утруждал себя «плебейскими» недоговорками. Да уж, как случилось, так случилось. Поделом. Своими же руками все испортила: с семейными приемами и брачными приготовлениями стоило бы месяц или два повременить.

– Я уж думал, что твой отец, по меньшей мере, генерал! – сказал он после этого знакомства.

– Это почему?

– По твоему королевскому виду, прекраснейшая. Семя от семени иной раз, видно, и поодаль падает.

– Не смей так больше говорить!

Елена уязвлено вспыхнула. Конечно же, она любила своих близких, хотя, чего греха таить, стеснялась постоянной скудности в семье, уклада работающей невеселости, которая была в их доме точно родовым клеймом, и хлебосольно-грубоватой простоты. Она была из «малообеспеченной семьи», как это номинировалось в обществе и отражалось в статистических отчетах: такой уж был постфактум и ее бэкграунд. И это ей решительно не нравилось. Поэтому все то, чего ей не сумели в детстве дать отец и мать, она старалась наверстать сама. Ну, может,

чутью лишь заблуждаясь тут, она предвидела, что при ее характере, который имел свойство приводить в растерянность домашних, наклонностях ума и внешности в будущем ей пригодится умение безукоризненно держать себя, хоть мало-мальски разбираться в живописи и литературе и правильно не косноязычно изъясняться, – вот. И осознание того, что она уж многого достигла в этом, обитая в скромном мирке своих родителей, и порождало в ней ту гордость, заставлявшую без конца возноситься и падать, примерять к себе то, что было недоступно в жизни ее матери, но инстинктивно, по преемственной боязни, тотчас же отказываться. Так было и с Мишелем: случайная размолвка выявила точно фальшь, которую они скрывали друг от друга. А это могло выставить её иначе, грозило умалить, что было для нее так важно. Верная себе и кропотливо созданному образу, Елена допустить такого не могла. Крис мог бы сделать вид, что не заметил грубости или безвкусицы ее родителей. Или уж хотя бы выразиться в более тактичной форме, чего ее не так бы ранило. Но он сказал это со смехом, словно бы о чем-то постороннем. И вот уж девичья мечта о благородном принце, еще недавно так безрассудно волновавшая ее натуру, стала досаждать.

Развязка наступила неожиданно, на первой же совместной новогодней вечеринке, которая распалась в восприятии Елены на ряд мучительно-комичных сцен. Квартира была генеральской: хозяин вместе со своей второй женой, скрипачкой из консерватории, был в длительной командировке. Устроить себе праздник в отсутствии ревливой мачехи, которая была их ненамного старше, решили непоседливые дети. Их все называли Чук и Гек: оба были в светло-серых пиджаках, белых одинаковых рубашках и в тюленьку похожи друг друга, включая их прилизанные в пику моде шевелюры; один был только в красном галстуке, а его брат-двойник в зеленом. Короче, оба были страшные милашки, бегло говорили на английском языке, показывали фотографии, где они стояли вместе в пионерском кумаче и в плавках на фоне Аю-Дага у «Артека», и были хороши во всяких прочих отношениях. А вот в своем стремлении объединить людей по «разным интересам» они перестарались. По комнатам слонялись взад-вперед умильно-пьяные и похотливо-льстивые, бесстыже льнувшие ко всем, по большей части незнакомые Елене парни и девицы. Сидевший рядом за столом самодовольный оболстительный Мишель своей рукой безостановочно, как напоказ блуждал в ее коленях... Ей было неспокойно, да и жаль его. Ему хотелось возместить свою несостоятельность, на людях отыграться. Он вел себя с ней так, будто бы она такая же, как те девицы, которые заслуживали ровно то, зачем их пригласили. Но он не придавал значения «таким вещам», чего-то там острил на публику и увлеченно изучал ее колготки. В конце концов, бесплодное плутание его руки ей надоело. Напротив был голубоглазый необщительный блондин, как не замечавший ничего, сидевший с видом полного отсутствия. По первому же впечатлению – самодостаточный, беспечный фантазер. Такой, немного на уме себе Пер Гюнт, который угодил в компанию ужасных троллей. Поэму Ибсена, с расклеившимся корешком, всю испещренную чужими комментариями на полях, она как раз тогда взяла в библиотеке и читала. Всё произошло само собой. Сначала робко выроненный на тарелку нож; затем – последовавшая вспышка ревности Мишеля, его надменный, беспардонный тон. Её прощальная, от безысходности, пощечина... Как пошло всё, скорее прочь!

Она не помнила, как одевалась: Мишель был обозлен и не пытался удержать. Хотя она не думала тогда об этом, была не в состоянии ни сожалеть, ни рассуждать. Ей в тот же миг все опротивело. То оскорбление, которое он произнес при всех, хлестнуло слух кабацкой непристойностью. Или он рассчитывал таким путем ее унижить, обломать? Сердце охватила жуткая апатия, даже отгеснила острую обиду на него. И было ощущение того, что все оборвалось. Только ощущение и было. А мыслей не было. Она была свободна от него и от самой себя? Как знать.

Наверное, она почти, что кубарем скатилась вниз по лестнице и пулей вылетела в дверь. Под козырьком парадного был он. Она узнала по упрямому лицу того голубоглазого, который

будто потерял свою Сольвейг. Она не знала его имени, забыв уж и о том, что было за столом. И сколько же он тут стоит, притоптывая от мороза? Уж не иначе, хочет поразить своей предсудительностью, очаровать. Ага, как представитель местной Армии спасения. А ведь она нисколько не рассчитывала, при всей своей фантазии отнюдь не помышляла учинить такой эффект своим ножом! Она отметила: как суслик, в пыжиковой вислоухой шапке, чуть-чуть сутулая, окоченелая фигура. Расхохотавшись, она едва не налетела на него. Думая предотвратить ее катастрофический полет, он граблями раскинул руки и, поскользнувшись, сам чуть не упал. Она уничтожающе взглянула на него. И кем он только возомнил себя, наивный дурачок? Так и не сказав, что думает, она сторонкой обошла его. По состоянию ее души он был тут ни при чём, почти как телеграфный столб. Она была возмущена случившимся. Возмущена, но не свободна. И в довершение к тому все ее тело пробирал озноб. Но он не отставал, минуту или две упрямо шествовал за ней. Шагая по заснеженной дороге вдоль фасадов, она не разбирала, что он бормотал. Ночь выдалась морозная и звездная, какой давно уж не было. По сторонам вздымались свечками дома того заволжского микрорайона с родимыми чертами захолустья, куда Мишель привез ее. Неполная далекая ехидно-желтая луна глядела сверху. И хруст шагов обоих эхом раздавался вразнобой. Его шаги то затихали в нерешительности за спиной, то снова приближались. И, наконец, похрустывание четырех подошв слилось в одно.

– Позвольте я вам помогу?

Елена обернулась, увидела перед собой слегка согбенный силуэт как припорошённого медведя. И снова в выражении лица ее остановило что-то. Похоже, он и правда думает, что спас ее... Догнав её, он простодушно извинялся (она всё тотчас поняла, не стала спрашивать, за что). И пробовал помочь с застежками накинутого впопыхах манти. Неловкие и сильные, чувствительные пальцы. Она растерянно воспринимала их спокойное самоуправство: отыскивая петли в клапанах одежды, они не больно торопились, как по замерзшей флейте лазали по ней. Чувствуя их на себе, она была в таком оцепенении, что усомнилась после, был ли между ними этот разговор.

Но он наверно все же был.

– Какой вы прозорливый! – кажется, промямлила она.

– Это почему?

– Теперь я не умру, спасли меня от верной гибели на холоде.

– Думаю, не только.

– Не только что? А вы зачем ушли?

Он оглядел ее фигуру сверху вниз, ища, чего еще осталось не застегнутым.

– Что сделано, то сделано, хотя я представлял это себе не так. От одиночества и холода вы точно не умрете. Я провожу вас, хорошо?

Нет, в нем не было ни капли от того, чего она в нем заподозрила сначала, такого продувного лодыря и болтуна. Ей что-то вспомнился прощальный школьный бал, раскланявшийся перед ней Испанец... И почему-то стало хорошо.

Не удостоив его никаким ответом, она вдоль бровки тротуара зашагала дальше. Район был незнакомым и глухим, еще не целиком застроенным; безлюдная дорога то делала белесые прострелы вдаль, то пропадала за домами. Не замечая направления и размышляя про себя, Елена шла. Ничто ей не мешало предаваться своим чувствам. Она не знала в чем, да и кого винить, и от обиды ей хотелось сокрушить весь мир. Такое было состояние, и так она переживала ту минуту. В этом состоянии ей было все равно куда идти. Она была во власти новых и не самых лучших ощущений. Не понимая, отчего это свалилось на нее, коли она сама того хотела, она ругала эти ощущения. Желала как-нибудь избавиться от той в себе, которая ее за что-то упрекала, хотела поскорее позабыть о неприятности на вечеринке, о выходе подвыпившего Криса. То намеревалась как-нибудь иначе расценить, чего произошло, то разом выбросить из головы, забыть и эту свою глупую пощечину, и все свидания с букетами оранжерейных роз или

азалии среди зимы, поездками на дачу, со всеми поцелуями, такими долгими при расставаниях и жадными, когда встречались; хотела позабыть и самого Мишеля. И в этих противоречивых чувствах шла.

Елена шла. А то, что она видела, приумножало неприятность: оно глядело на нее со всех сторон из мертвых, как глазницы, закоулков и с мозаично освещенных сизых стен. На всем вокруг была печать опального забвения. Весь город будто съежился, слинял от трусости в свое бетонное дупло. И улица уж стала никому не нужной: такой же брошенной на произвол судьбы, невыразительно потерянной, как и она! Такого состояния щемящего опустошения она еще не знала, ей не с чем было это чувственно сравнить. И чтобы обрести желаемый покой в душе, она все отрицала. Да, повод к их разрыву подала она. Мишель был пьян, он сам на эту ее шалость напросился. Разрыв бы все равно когда-нибудь произошел. Видно, он почувствовал в ней перемену и вот решил по-своему воспользоваться случаем: от ревности он это мог. Возможно, он любил ее. Но у него происходили сложности на почве слишком раннего, если называть это своим нормальным именем, *распутства*. И это отражалось пагубно на всем. Выросший под неусыпным оком своего отца, он был до ужаса самолюбив, при этом изворотлив и умен. Но даже если он сказал так сгоряча, то это его мало извиняло. Такой вот заключительный аккорд поставил уходящий год в их отношениях. Такой и не такой, как бы хотелось. Но он был предопределен и ей не стоит изводиться и казнить себя. И все же видя новогодний свет, струившийся из чьих-то окон, Елена чувствовала себя очень одиноко. Ее телохранитель сбоку молча шествовал, одаривал своим примерно-кротким поведением и самообладанием. Она была признательна ему за то, что он не пристаёт с расспросами, не лезет с утешением. Но мог бы и сказать чего-нибудь, невежливо же вовсе так... Она взглянула на него и тут же отвела глаза. Ну да, а где и с кем сейчас Мишель? К ней вновь вернулась ревность и досада на него.

«Да, всё вроде так и не совсем!» – подумала она. Подумала, подумала – и, отвернувшись, всхлипнула. Физическая дрожь прошла, но как избавишься от самоунижения, стыда? Где тот возлюбленный, которого она не сберегла? И, наконец, откуда это сладкое, почти невинное, злорадство, когда за ней так запросто и вроде неподдельно искренне ухаживал другой? Едва ли он достаточно знаком со всей компанией, до этого она его ни разу не встречала. Вот-вот, где Крис, там вечно что-то происходит, всё не так! повсюду водит ее за собой и хвастается. Подумать, так зачем она нужна ему? Так, девочка для выхода и всё? Она уже не в первый раз об этом думала: разные навязчивые мысли лезли в голову. Хотя, какая разница, знаком ее спаситель с кем-то или нет? Слыша его ровное сопение, она перебирала свои ощущения. Он вроде что-то говорил, когда застегивал манто. Как это вышло у него: что сделано, то сделано? Он будто бы сказал это и про нее. И ни о чем не спрашивал. Вообразив, что на нее глядит сейчас Мишель, она опять почувствовала легкое злорадство. Да, ей так хотелось объясниться с ним в тот вечер, ей так недоставало теплоты! Ей надо было всего лишь убедиться кое в чем; хотелось, чтобы возвратилось чувство защищенности, уверенности в нем. Но то, чего хотелось обрести в любимом, больше не было, теперь вся защищенность исходила от *него*, от этого голубоглазого. И пальцы его рук как были все еще на ней. Нет, нет: и не Пер Гюнт и не Мишель. Идет и скромно возвышается над ней, передает свое успокоение. Она подумала, что у него это выходит. Чувствуя его расположение, она отогревалась этой мыслью и, упиваясь своей властью, соединялась через это с ним.

Улочка из-за домов должна бы выйти на проспект когда-нибудь, подумала она, где, может быть, не так тоскливо? Да уж куда-нибудь, только бы не видеть перед самым носом этих стен, глумливо радостных крикливых окон! На повороте ее сапожки заскользили, она схватила парня за руку. Наверно, это у нее от потрясения, сбой чувств и нормы поведения. Она прислушалась к его сопению. Да нет. Возможно, ничего и никогда он не узнает, чудной услужливый медведь! Она прикинула, как прозвучит ее вопрос насчет его претенциозного «не только» и ни

покажется ли это многообещающим. Но тут его глаза под козырьком пушистой шапки спустились сами с Млечного Пути:

– Кажется, я думаю – о чем и вы.

– Ах, так?..

Не зная, что сказать, она перехватила его локоть. Путь ей предстоял неблизкий: надо было добираться в верхнюю часть города, а вечеринка была в низменной, заречной. Она подумала, что было бы разумнее вернуться. Но тут представила самодовольное лицо Мишеля и с твердостью сказала себе: *нет*. Должно быть, по дороге встретится такси, если они ходят в этой глухомани.

– В такси я вас одну не посажу, – решительно промолвил он.

– Разве я о чем-нибудь просила?

– Нет, но вы подумали.

Или уж она и вправду что-нибудь сказала? Одну он ее, значит, не посадит. Ну и ну!

И снова шли и шли. Сдуваемые с лип снежинки крутили перед ними медленный фокс-трот. Где-то позади – взвилась ракета, лоском малахита тут же осенулась, стала как-то сказочнее, краше ночь; меж подхалимов-фонарей вытянулись вдаль две исполинских тени. Одна тень выглядела больше. Но обе – да, как будто обе вместе были ничего. Ей снова захотелось все перекроить в своей душе. И как это другие могут разом взять всё и отсечь? Она всегда пертерпевала трудности при этом. Она бы и не принимала никаких скоропалительных решений, если б в ее жизни складывалось что-то по-другому, если бы ни приходилось вечно что-нибудь решать. Мишель еще подшучивал, что якобы она сама его как Маха поманила; он не уточнил, *которая* из двух. Чего-чего, а напустить тумана он умел! Ну да, он сам не агнец, но кое в чем попал тут прямо в точку: она отважней и решительней его. Потом еще ей нравилось смотреть на то, как он любовно поедал ее глазами, когда она немножко обнажалась перед ним в автомобиле. Она не думала о продолжении, когда так делала, смотрела на его лицо и всё. Мишель, похоже, думал, даже очень, но у него, увы, не получалось ничего. Хотела, раздевалась, – ну и что? Ей нравилось показывать себя, поскольку это нравилось ему. И он в долгу не оставался: ему безумно нравились ее глаза, фигура, волосы – и всё такое, как он говорил. Но не за это же одно она его любила? *Оракул любят уж за то, что он оракул, за то, что ты сама близка к нему!* Мать неустанно повторяла этот тезис. Пускай Мишель – оракул, пускай уж и останется таким, как был. Как *был*?.. Или уж она и впрямь такая затаенная распутница? Пусть думает и говорит, что хочет. Да уж, какая есть. Нет, она не Маха, того гляди перед любым готовая раздеться. И ей не все равно. Напрасно он такого мнения о ней.

У подворотни, за которой хорохорился огнями запоздалых легковых автомашин проспект, сопение ее соседа пресеклось. Он взмахом показал на окна. Она не сразу поняла, куда он смотрит. В одном окошке с краю фосфорировала через шторы ёлка.

– Чего, вы здесь живете?

– Да. А где-нибудь еще сейчас вас ждут?

Елена ожидала действия, но от вопроса оробела.

– И что? А этот свет?..

Не опуская поднятой руки, он улыбнулся. Желая все же получить какой-нибудь ответ, хотя бы не вполне правдивый, который бы упростил сразу всё, она вполборота снизу вверх смотрела на него. Все то, что было ожидаемо, она уже прочла в его глазах: чтобы забыться, ей и самой хотелось окунуться в это. Но было что-то и еще. Мысль о возможной близости с этим добродушным незнакомцем не вызвала ничего такого, чего пугало своей оборотной стороной, склизкой неизвестностью в такой момент. Да, ее тянуло к этому медведю, тянуло «окунуться», чтоб забыться, чтобы очнуться после той, какой она была лишь для самой себя. Была и есть. И все же, стоя перед ним, Елена не могла преодолеть ревнивое борение в своей душе. Рассудочным залогом чистоты, когда ей приходилось что-нибудь решать, в ней натурально просы-

пался узурпатор, блюститель строгой нравственности, глядевший на нее глазами матери. Елена чувствовала, что, сделай она первый шаг, то вместе с ним придет конец тому, что связано в ее судьбе с Мишелем. Придет начало новому чему-то и конец *тому*. И это двойственное чувство само себе довлело, когда она, ругаясь про себя, поглядывала по направлению его руки в обхвате рукава пуховика.

– Так что? У вас там кто-то есть?

– Пока что никого.

– *Пока?*

Все то, чего хотелось ей сказать, так и не слетело с губ. И он не проронил ни звука. Еще секундой раньше она намеревалась развернуться и уйти: ее устроил бы любой ответ. «Я же ведь его совсем не знаю!» – подумала она. Но тут, словно обронила что-нибудь, к чему уже приладилась и привязалась, взглянула себе под ноги и призадумалась. Никто не смог бы в точности сказать, о чем она задумалась. Да знала ли она сама об этом? Или же ее благоразумная душа заведомо всё знала наперед. «*В белом венчике из роз? в венчике из белых?..*» – пришла ей в голову полузабытая строфа. Пришла в таком уж виде, как пришла, и так без окончательной редакции, прилипчиво вертелась на уме. В злой рок она не верила: стало быть, опять судьба?.. Всё знала или нет, но все равно – стояла и гадала как молодая дева-ночь перед явившимся ей златорогим месяцем. И будто в унисон ей, колкая выюжица улеглась.

Склонившись к ней, он осторожно снял с её руки почти не согревающую вязаную варежку. Елена посмотрела на его лицо с высоким лбом, который можно было угадать под меховой тулейкой шапки из ондатры, пикантно удлиненным, с правильной горбинкой носом, упрямыми глазами и с нешироким закругленным подбородком.

– Хотите стать последним утешением в моей судьбе? И как же вас зовут? У вас наверняка есть имя. Может быть, вам стоило бы прежде...

Пока он отвечал, пальцы их соприкоснулись и переплелись. Его горячая ладонь не обожгла.

V. В облаках

Всё было до того необычайно упоительно, что перед этим бы никто не устоял. Спартанский образ жизни Статикова дрогнул от райской пасторали горных предрассветных флейт, перекликавшихся полуденных свирелей и рожков, полночного томления виол и тонкострунных арф, во вкрадчивом созвучии валторн, дионисических цимбал и сладкопевных мавританских лютен. Гармония их опьяняла, будоражила, вливаясь в сердце то как ангельская песнь, то как трезвонящая вешняя капель, и в кульминации неукротимыми потоками венчалась жаркими фламенко с кастаньетами и долгой экзальтацией индийских табла и том-том. Под эти слаженные ритмы простыни, пропитываясь смешанной с духами влагой тел, не успевали просыхать и пахли точно мускус. Не так уж склонная обременять себя Елена, – она все делала и скоро и охотно, но только если это пробуждало у нее взаимный интерес, дарило *вдохновение* и с блеском получалось, – меняла простыни сначала через день из своего бездонного приданого. Когда же и оно закончилось, накинув на себя халат, вывешивала их утром на балкон, где они до вечера вздувались на ветру, вновь обретая благодать и свежесть, будто бы молитвенные стяги на уступах Лхасы. К носке рядовой одежды внутри дома у нее было своеобразное презрение. По комнатам, чтобы не «делать лишнего», она расхаживала без халата, в надетой набекрень, а-ля Гаврош, бейсбольной шапочке и заячьих, с двумя помпонами домашних тапочках и том же виде, добавив еще фартук, жарила на ужин с паприкой, картофелем и черносливом мясо.

И вот в своей картинной позе на спине, что выходило у нее неповторимой камерной импровизацией с полотен Тициана, сложив за головой крест на крест руки, она в дремотной неге от изнеможения лежала рядом. Две круглых ямочки – одна у левого бедра, другая на груди и ровная как нарисованная мушка родинка на мочке уха. Почувствовав его внимание, она немедленно приоткрывала веки. И взгляд длинноресничных серых глаз неторопливо и как озадаченно смотрел в обратном направлении: от розовых, смотревших врозь сосков, через эмблему живота с лобком под кучерявым, чуть лоснящимся пушком, до окончаний выхоленных, как хризантемы, стоп с детскими, почти, что незаметными ногтями. За этим её правая нога лениво поднималась пяткой вниз, показывая полное и гладкое колено. Лебяжья шея с пульсирующей деликатной жилкой у ключицы в густом руне разметанных каштановых волос, казалось, еще больше удлинялась и, наконец, почти не отделяясь от подушки, нежно, будто самопроизвольно изгибалась.

– Ты мне еще расскажешь о себе чего-нибудь?

Она произносила это так, словно уж была готова к повторениям и лишь сортировала то, что знала, впрок. По-солнцу снова возвращаясь в тот же пункт, он каждодневно обновлял свое повествование, выуживал из детской памяти, что мог: примерно так же, как она бельё из своего неисчислимого приданого. Фактически Елене было интересно всё. Она желала знать о том, как он катился раз с горы на финских санках, и как уже внизу, где было множество зевак, полозья разошлись, наехав на песок, и он, перевернувшись вверх тормашками, расквасил о булыжник нос. Еще, во всех оттенках возрастного восприятия, она желала знать о том, как он впервые в жизни осознал свой пол и, как и с кем потом поцеловался. Потом еще о том точильщике – плечистом, борода лопатой, мужичке в замасленном холщевом фартуке, что раз в неделю с переносным ножным станком вставал перед окном у дома, смачно потирал ладони и сочным слогом возвещал начало трудового дня... Но одного упоминания об этом было мало. Конструкцию станка Елена находила занимательной, все время переспрашивала, когда он начинал рассказывать, просила раз от раза повторить, и он подробно объяснял чего и как устроено. Внизу станины, говорил он, возле ног, была продольная доска, нажатие которой приводило действие через вертлюг два колеса, связанных между собой ременной передачей: одно ведущее, как

маховик, и то, что наверху, поменьше. Во втулку этого, что меньше, вставлена была подобно шпинделю, или же веретену в прядильной фабрике, удерживаемая ступором на раме ось с насаженными на нее наждачными кругами. Таких наждачных дисков было пять, различной толщины, диаметра и своего предназначения. Когда весь механизм работал, из-под наждаков летели снопы искр: у лезвия крутятся как мулине, мареновые, желтовато-красные или с синевой, – чего зависело от абразивного материала и металла, они коническим пучком стремились по дуге и тотчас же к его огромному разочарованию бледнели, угасали. Но шпиндель продолжал вертеться, производил все новые снопы; станок был замечателен и обладал своим характером. Как сами диски, так и обрабатываемый инвентарь разнились так, что цветовая пляска искр бывала всё с какой-нибудь особенностью и на глазах перерождалась. И затаив дыхание, он ожидал, какой узор получится на этот раз. Точильщик был невыдающейся наружности, не дюж, но ловок. Он приходил всегда сутра, и каждый раз вставал на том же месте. И только слышно было его зычный голос, врасстяжку разносившийся между домов: *«топоры-топо-орики, ножи-и, ви-илки то-очим!»*

– Так значит, он стоял спиной к окну? а как же это мулине и борода лопатой? Хм. Но все равно: топоры, ножи, круги... как здорово! – восторженно хихикала она.

Еще ей непременно надо было знать о том магическом автомобиле с вращавшимися фарами, педалями и *настоящим* клаксоном, что подарил ему отец на именины, и как он взад-вперед катался по двору, сигналив и распугивая кур. Потом еще – о том, как в первый раз увидел паровоз, из-под колес которого в припадке раздражения со свистом вырывался пар: хотелось посмотреть еще и спрятаться куда-нибудь, зажмурившись от страха. Потом...

– Да нет, постой, любимый, ты опять увлекся! Потом, про этот паровоз ты случаем ни Люмьеров подглядел? Мне это в прошлый раз еще один их фильм напомнило. Два брата, кажется. У них еще "Купание Дианы" есть. Ну что, я угадала? Да нет, об этом ты позавчера рассказывал: ты говорил, что был с соседской девочкой у палисадника, и что она была тебя на месяц или на два старше. Ты, кстати, как это узнал? И вы еще стояли с ней и любовались на цветы – махорчатые, фиолетовые. Она сказала, что они растут сто лет. А ты ей не поверил. Почему?

Пока ум лихорадочно искал ответ, Елена уставала ждать. Её нога с приподнятым коленом томительно откидывалась вбок; низ поясницы, как будто в теле вовсе не было костей, упруго выгибался. Она смежала веки, с разжатых губ слетал протяжный тихий стон; плывя как чёлн от головы по увлажненным смятым волосам, нетерпеливая ладонь плашмя ложилась возле его паха и, крадучись, перебирая пальцами, сползала. Её вопрос на время застревал в прелюдии свирелей и рожков, которые играли так, что разом пропадали мысли. Однако в паузе, не нарушая нотный строй, она могла спросить:

– Так что, и как это у вас там было?

«И экспансивное и элегичное и эксцентричное. Ну-ну!» – посмеивался он.

В период морозящих вздорных ссор и молчаливых неурядиц Статиков, смягчаясь, отступал, когда припоминал эту идиллию, исполненную, как и у всех в такую пору, клятв в вечной верности и романтических грез. Глаза ему застлало: как мог он не предвидеть тот кошмар, что начался потом? Уместно также было бы спросить о той таинственной звезде, что так фатально привела его к Елене. Он не увиливал от самого себя и не скрывал: с чарующей, непредсказуемо проказливой и несравненной Анжелой они по-прежнему встречались. Во снах она все так же, как и раньше, появлялась перед ним: смеялась, льнула как былинка в поле и заигрывала. *«Kochanaj mnie! kochanaj!»* Но тотчас же, захохотав, вдруг вырывалась, – сверкая икрами и голыми стопами над травой, бежала как газель, чтоб спрятаться в листве. Пытаясь отыскать ее, он шел по ложу переплетшихся корней дремучего, как заколдованного леса, высматривал ее и, озираясь, окликал. Она оказывалась чаще где-нибудь поблизости: шептала из ветвей то «горячо», то «холодно»; дразнила как дриада и манила. *«Дай руку, idziemy z mna. To*

наше общее, то *los. Widzisz, one też poświęcają się!*»⁵. Выпрыгнув из своего укрытия, с обворожительной невинностью в глазах, которые оказывались прямо перед ним, она протягивала руку. И он повиновался, как верный паж и рыцарь, куда б она ни пожелала, следовал за ней. Еще она хотела, чтобы, когда придет пора, они опять на том же месте встретились, чтобы поклясться в верности уже «до гроба» и после этого отправиться вдвоем в *ночной дозор*. «В какой дозор?» Но Анжела не объясняла ни того, когда наступит та пора, ни что это такое: «*Ostatni, rozumiesz?*» При этом раз за разом их разговор происходил на двуязычном смешенном наречии, как будто языки еще не разделились фонетически: польская латиница на слух воспринималась как кириллица, и было впечатление, что он все понимал. Прощаясь с ней, бывало, что он вздрагивал во сне, – открыв глаза, смотрел на люминесцентный циферблат будильника, который был на столике перед кроватью, и вспоминал, что он уж пару месяцев, потом еще три месяца, потом еще четыре, как женат. Да, встречаясь теперь с Анжелой, он зачастую находил в ней что-то от Елены, такое же неповторимое, как и тогда, когда они гуляли по аллеям парка, влекущее к себе дурманом трав, прохладой серебристых рощ и отдающей мятой девственной росой. Что поначалу спланивало всех – его, Елену, Анжелу, – с тем ярким скрытым демиургом, который скоро стал не обходным препятствием, как бы искусственной помехой на пути? С него ли началось это или с тоски по Анжеле, с которой рано или поздно надо было расставаться, и память, связанная с ней, все более щемила грудь и таяла как семикратный свет Плеяд?

Представить на одну минуту, что он бы начал рассуждать о том в постели, – какая невеста история могла бы получиться! Но, к счастью, все это пока из области предположений, едва не как досужее гаданье на кофейной гуще. Негоже было даже спрашивать тогда об этом. Одной реки в разлив им было мало, их захлестнуло и несло вперед как мощной приливной волной. И оба безудержно упивались этим чувством: не жизнь, клубничный конфитюр.

Медовый месяц растянулся на год. За этот год и без значительных хлопот, между «рожков и кастаньет», они успели переехать в заново отремонтированный ведомственный дом, который был недалеко от Управления. Квартира оказалась с видом на речной откос, была роскошной и просторной. Внутри она была с отделанной под черный мрамор ванной, сверкающей у стен как раковина каури ансамблем анодированных ручек, армированными дверцами стеклянного подвешенного шкафчика для туалетных принадлежностей, который был перед наклонным, менявшим азимут обзора зеркалом, а также с гарнитурой встроенного тут же, через прозрачную перегородку душа. Но больше поражала кухня, размером с прежнюю их комнату, с уже готовым импортным инвентарем. Внизу подъезда за столом дежурила усатая, не допускающая фамильярностей консьержка, которую Елена тут же окрестила «старой девой». Он пробовал узнать, в чем дело, но она не говорила, сначала она только улыбалась, если он расспрашивал. Оказывается, та без конца читала один и тот же том Флобера в потертом мягком переплете, а если ее отвлекали, то подносила к своему лицу, с экспрессией гвинейской черепахи, лежавший под ее рукой, наверное, фамильной ценности, лорнет.

Бродя по комнатам в своем обычном виде, когда она ничто не надевала, или как просшая фасоль в своем любимом плисовом халате с капюшоном, и так мечтавшая до этого о жизни в роскоши, Елена перемене обстановки была страшно рада. Более всего по выходным ей нравилось стоять под душем, выделявая разные круговороты и эротичные фигуры за перегородкой (как бы не имея никакого представления о том, что муж уже вошел и смотрит на нее). Затем она оглядывалась – демонстрационно, тучно и легко передвигая бедрами, перегибалась в талии и с шалым озорством манила его пальцем. Прежде чем забраться под рассеянную пластиковым решетом струю воды, где было пылко льнувшее к нему и пахнущее луговой ромашкой тело, он попеременно видел как бы двух Елен: одна из стен была с полметра ширишь, от ног до головы зеркальной. Елена как-то ухищрялась тоже созерцать его; ей жутко нравилось

⁵ ... рок. Видишь, они тоже жертвуют собой (польск.)

смотреть на состояние любовного процесса. Балкон с перспективой на стоянку легковых автомашин здесь конструктивно был, но пользоваться им доводилось редко, ибо все постельное бельё по вызову уже меняла и стирала прачка.

Опередив на год свою жену (она была способна, но не отличалась прилежанием, а, выйдя замуж, кажется, и вовсе потеряла всякий интерес к стезе «сухих безжизненных наук»), Статиков благополучно защитил диплом. Его защита превратилась в истинно семейное событие: до этого, когда он вечерами пропадал в библиотеке, Елена ревновала его к каждой мелочи, но, как он получил диплом, без промедления устроила грандиозный пир. Да, раньше жизнь была не так разнообразна, думал он, когда они сидели за столом в гостиной и чокались хорошим марочным шампанским: Елена более предпочитала полусладкое, но ради случая пошла на жертву, купила где-то настоящий брют из шардоне. Судя по ее глазам, своим супругом она восхищалась. Сидя через стол, он целовал ей руку с красивым дорогим кольцом на пальце, слушал ее рассуждения о том, что это лишь начало их совместной жизни; что он умен и даже без диплома, который им обоим, как он знает, нелегко достался, прекрасно эрудирован и развит. Так что если сильно пожелает, – а он ведь пожелает? – то сможет еще большего достичь. Он сердцем слушал эти рассуждения и то же время видел, как упорно держатся за стенки пузырьки, прилипшие к стеклу фужера... Заметив на его лице смущение, Елена ласково взглянула, медленно приподняла бокал и сразу же переменяла тему. Незамысловато как-то, по наитию, она могла быть тонким тактиком, тотчас же стремилась угадать его желания (хотя и выполняла их не прямо, а по-своему, что-то добавляя или видоизменяя на свой вкус). Так что ж с того, он рассуждал. Пускай ее устами говорила красота, которая сама уж по себе была как справедливость. Но разве цель не в том, о чем она упомянула? И разве в жизни есть еще чего-то более весомое кроме вот таких улыбок, чуткого семейного взаимопонимания и стойко обеспеченного счастья на двоих? По существу все так и обстояло, как она сказала: до встречи с ней, он плыл как по течению, ближайшей целью было получение диплома. Но это не было его задачей, это была только промежуточная цель.

На службе этот неизбежный штрих в его возросших внутренних запросах не остался безучастным. Чтобы остеречь его от колебаний в верности когда-то сделанного шага, на состоявшейся внеплановой летучке – ближе к осени, но приуроченной к успешно завершённому учебному этапу, его поздравили с уже одобренным перспективным назначением. Упомянув о некоторых его заслугах и пожимая руку, начальство было очень убедительно, при этом пожелало, чтоб в ответ и он чего-нибудь сказал. Честно говоря, он на такую помпу не рассчитывал и чувствовал себя под взглядами стоявших перед ним как перед римским триумфатором коллег немного не в своей тарелке. Ему не нравилось, претило даже, когда его достоинства превозносили: это подрывало в нем душевный строй, тот жизненный устав, заложенный еще в родительской семье и более направленный на самокритику, самим им утверждаемый авторитет. Он не запомнил, что сказал: от неумения витийствовать, кажется, он произнес всего десятка три негромких слов. Речь вышла маловыразительной: у многоопытных коллег могло сложиться впечатление, что он ни поздравлениям, ни назначению не рад. Но это ему мнилось от волнения. Он через меру был взыскателен к себе: никто из тех, кто знал о степени его квалификации и трудолюбии не понаслышке, чествуя его, не мог бы заподозрить что-то недостойное и покривить душой.

Елена этим обстоятельством гордилась, безмерно радовалась всем его успехам; и наряду с тем больше тратила. Хваля какой-нибудь ее очередной изысканный наряд с неброским ярлычком «Yves Saint Laurent» и глядя на свои высокоточные часы в прямоугольном корпусе – подарок к окончанию учебы, Статиков старался не впадать в уныние. Супруга была не по средствам расточительна; но дело было не в одном бюджете: любая неоправданная роскошь, как полагал он, портит, развращает ум. Он рассуждал так про себя: его очаровательной жене было не к чему напоминать об этом. Она могла чего-то не понять, истолковать его слова превратно,

подумать чего доброго, что он скупится. И все-таки у них однажды состоялся нелицеприятный разговор. Елена заявила, что ее платья и другие туалеты приобретались кем-то в Монте-Карло или в Страсбурге: подруга говорила где, но, честно говоря, она уже не помнит. Короче, не в не таком и дорогом уж европейском бутике. А его часы, которые в момент вручения еще показывали время Бьена, летели в чьем-то кейсе прямо с горнолыжных Альп. Расспрашивать о прочих украшениях ему мгновенно расхотелось. Что ж, в общем-то, она вела себя, наверное, как все молодые жены в этих случаях. Ничуть не думая о том, насколько это можно совмещать с работой, хотела сутки напролет бывать с ним; ласково ворчала, если он опаздывал к столу, затем влекла в свои объятия и не желала больше слышать ни о чем. Он знал, ходя в его отсутствие по магазинам, она уже присматривает детское белье и собирается «как только повезет» рожать. Да, он обратил внимание на этот безусловный факт: и любящая роскошь и практичная, особой разницы между работой и семьей она не видела. И в этом отношении была до крайности амбициозна. Ее любовный пыл, который никогда не иссякал, и то, что рано или поздно выходило следствием того, по разумению ее, должно было способствовать тому, чтобы супруг все время совершенствовал свою карьеру, имел заслуженные почести и еще больше получал.

Насколько это было в его силах, он угождал амбициям жены и отвечал на ее прямоту взаимностью. И все же было кое-что, о чем он ей не мог сказать. Елена с ее женским здравомыслием и честолюбием, реализуемым через него, должно быть, сильно поразились бы, узнай она об этом. Да, его собственное честолюбие, которое, как он считал, подчас паразитирует и губит урожай, безоговорочно не помыкало им. Когда он вглядывался утром в зеркало, которое по-прежнему висело в спальне, – часть скромного наследства, в ореховой с руническим орнаментом овальной раме, в нем пробуждался трезвомыслящий садовник. Зачем ему помог и проявлял с тех пор внимание к его судьбе, уже издавека, Трофимов? Сам не имеющий потомства и, может быть, на склоне лет переживший из-за этого, – направить, для начала подтолкнуть вверх по карьерной лестнице он мог бы и без всякой задней мысли. Но этот исполинский человек, больше уже не работающий в министерстве, но перед одной фамилией которого по-прежнему заискивало и трепетало местное начальство, похоже, до сих пор внимательно следил за продвижением его и опекал. Еще при жизни матери засевавший в голове и мучавший с тех пор вопрос был всего-навсего один. Спросить тогда об этом прямо у нее он по малодушию остерегался, сама же она в разговорах избегала прикасаться к прошлому: когда отец еще не выпивал, еще до заключения его под стражу, что связывало всю семью с Трофимовым? И вообще, чего могло быть общего у этого чиновника с отцом? Имея мало представления о том, что было как скелет в родительском шкафу, он был, наверное, излишне мнителен, когда самостоятельно пытался разобраться в этих отношениях. Но что хоть раз пришло на ум, так же в одночасье уж не вычеркнешь, не сбросишь со счетов. И в направлении он все же не ошибся: издали, формально не имея никакого отношения к нему, вначале маловразумительно и грянул первый гром.

При неудачной смене областных властей в крепкоголовой, но дряхлеющей верхушке Управления произошел раскол. И из столицы для острастки, как популярный персонаж с метлой, молниеносно прибыла поджаро-сухопарая и долгорукая инспекция. Все понимали, для чего: исстари скучны без козней и интриг служилые дела! Как полевая мышь под жернова попал и Шериветев, – тот незадачливый субъект, с которым Статиков столкнулся как-то, будучи ещё курьером; талантливый, как было сказано в досье, однако начисто не признававший силы обстоятельств над собой. Здесь надо сделать пояснение для тех, кто незнаком с секретами казенной службы: такое бытовало представление и у ближайших сослуживцев Шериветева, которые хотя бы уж для пушей убедительности во всем равнялись на начальство, и у начальства, которое чуть что всегда ссылалось на авторитет коллег. Так было принято, жестких правил тут никто не устанавливал, так что под раздачу мог попасть любой. И все-таки за аверс

этой мелкотравчатой характеристики, звучащей для натренированного уха точно *еретик* и уж под самый занавес растиражированной кем-то, никто взглянуть не удосужился. Поэтому никто не знал об истинной природе Шериветева, той вольной вольнице и колдовской, приоткрывавшей тот же мир по-новому разумной внутренней свободе, целостной раскрепощенности – и многого и многого еще, что Статиков благодаря знакомству с тем узнал и погодя раскрыл в себе. (Он чуточку приподнимал сейчас завесу: непросто говорить о том, что дорого, чего ты своевременно не уберег и что вызывает даже от крупниц утраты в сердце боль). Сложным было это чувство. Если до конца быть откровенным, оно объединяло всё, чего он еще ранее не так отчетливо улавливал в своей душе, и что по-своему роднило Шериветева с фигурой... Анжелы! Да, ведомыми им одним путями, и гармонично и подчас воинственно сосуществуя в нем, они до времени уравнивали ум и расширяли свод душевного пространства. При этом оба были в нем, казалось бы, еще до той поры, когда он встретил каждого, в латентной форме существовали в генах от рождения. К такому заключению пришел он, наблюдая за собой, и, как ни гадал, рационально объяснить это не мог. Законы Дао с их всеобъемлющей универсальной панорамой по-своему, конечно, тоже проявлялись здесь, влияли на его настрой. Вдобавок ко всему трезвая оценка, вдумчиво-спокойное переосмысление тех или иных житейских ситуаций были плодотворными и в отношении развития медитативной практики. Но к прежнему гаданию по «Книге перемен» он поостыл. Подбрасывание медных двухкопеечных монет, посредством проведенной девальвации вышедших уже из обращения, но до сих пор хранимых им в отдельном коробке, который извлекался из стола в отсутствие жены по случаю (Елена видела в таких занятиях одну забаву и, следовательно, потенциальную помеху для своей любви), теперь и самому ему казалось чем-то отвлеченным. Нет, это не было ребячливой и бесполезной тратой времени, как думала она: игра давала повод, чтоб поразмышлять, тренировала наблюдательность, была третейским въедливым судьей и закаляла волю. И все же равновесие меж «темным» Инь и «светлым» Ян, лишь как игра, уж больше не захватывало ум и не владело так сердечной мышцей. Меж тем при виде Шериветева он тут же вспоминал об Анжеле, испытывая наряду с тем то ли ревность, то ли жалость... Бывало, оба эти чувства возникали сразу, как переборы струн звучали в лад; отчетливо осознавая в этот миг себя, он как пещерный житель радовался им. Но даже этих утонченных проявлений своей психики, как следует, понять не мог: в натуре сослуживца ничто не отвечало складу Анжелы, все было в точности наоборот.

– Ну, как вы, как? всё ли нынче хорошо у вас? – обычно вопрошал тот где-нибудь в сторонке, будто от чужого сглаза.

От должностных формальностей и некоторой заскорузлой лени открытой дружбы между ними не сложилось. Но, тем не менее, порой служебные пути их где-нибудь пересекались. И пробирала оторопь при мимолетных встречах с этим мудрецом. Тот обладал еще склонностью брать под руку, стоило лишь зазеваться, и потихоньку увлекать по лабиринту коридоров с ажурно-голубыми барочными сводами, попутно что-то объясняя; как разошедшийся наставник на прогулке, рисуя в воздухе перстом замысловатые зигзаги и круги. Слушать его было интересно, вроде бы случайный разговор переходил в другую плоскость и порой затягивался. Но если посмотреть на их приватные беседы более придирчиво, то было бы нескромно и неосмотрительно довольствоваться без разбора тем, что он преподносил.

– Само собой, вы это знаете, – сказал он как-то раз. – Я лишь хочу напомнить вам о том, что в нашем здании – не в учреждении, вестимо, Боже упаси, а в здании, всего в наличии три этажа. На каждом этаже располагается по три-четыре департамента, каждый со своей структурой, служебным аппаратом и несколькими филиалами, как ленными вассалами на стороне, сиречь – опять же со своей структурой, но с ограниченными полномочиями. Ввиду специфики работы между соседними подразделениями, бывает, возникают споры. Ну, сами понимаете, нашему чиновнику следить за ежедневным соблюдением порядка – пытка, чего там только ни бывает. Но если прямо уж сказать, так чаще все пустяк какой-нибудь, как между не поделив-

шими совок или участочек в одной песочнице детьми. Так что до принципиальных разногласий или лютой потасовки не доходит, а оборачивается чаще всё какой-нибудь бумажной волокитой и возней. Но эти мелочные споры, тем более, болезнетворно отражаются на аппарате. И руководство, чтобы навести рядок, вынуждено вмешиваться: кого-то поддержать, кому-то сделать нахлобучку, бывает, для примера даже жестко проучить, а филиал с таким названием и вовсе упразднить. Но это, как вы понимаете, единственно из соображений образцовой исполнительности или нравственности, для сведения непосвященных. Фактически, чего б ни говорилось и ни делалось, всё всегда заканчивается миром, а разногласия и наказания так и остаются на бумаге. Так вот. Чтобы устранить какие-либо разночтения и нестыковки, здесь есть еще один этаж, четвертый, со статусом иммунитета и нейтралитета. Сразу же замечу, что этот междуправительственный деловой этаж – не выдумка, не фикция, а собственно вполне материальная надстройка, так сказать. Но сколько ни смотри, хоть в самый мощный полевой бинокль, с улицы его не видно.

Он поделился этим заключением как совершенным им открытием, какое надо было тут же намотать на ус. Но для человека с опытом курьерской службы это был секрет полишинеля. Этот дополнительный, или запасной, как бы надстроенный этаж был, вообще-то говоря, неполным. Предположительно он проходил на уровне в двух метрах ниже потолка фойе и актового зала, бывшего на третьем этаже, и представлял собой довольно протяженную закрытую террасу на консолях, внутри имевшую вид галереи. Своими сужеными как бойницы окнами в венецианском стиле этот дополнительный этаж глядел во двор с темневшим арочным люнетом у ворот и стриженной лужайкой перед мусорными баками, где утром можно было наблюдать работу дворника в техническом жилете. В зависимости от сезона тот в одиночку управлялся с распространяющей осиный звук косилкой, зимой – с лопатой, имевшей спаренную рукоять как у арбы, а осенью – с метлой, которая была на просмоленном, в косую сажень древке. Он был без сменщиков, что можно было угадать по его сдвинутой папахой на затылок черной шапочке с двумя крестообразными мурамными нашивками, как галунами. И сверху выглядел оставшимся тут с древних пор гофмейстером двора, который кремовым каркасом здания, по форме равнобедренной трапеции, был замкнут с четырех сторон. Рабочих помещений в этой галереи не было, задумана она была у актового зала, возможно, для придания особого удобства и солидности когда-то заседавшей здесь Управе и, как говорили, была тогда по всей длине застелена ковром с расставленными через промежутки столиками для сигар и креслами. Но после многократных изменений надобности в ней не стало и дверь, которая вела на этот капитанский мостик из фойе, была забита и задрапирована, так что со временем о ней забыли. По уверениям разведавшего некую «окольную дорогу» Шериветева, чего тот преподнес с лицом открывшего пролив между двух океанов Магеллана, пробраться сюда можно было, если знать, как подобрать ключи к обшитой цинковым листом и неприметной, в самом тупике, у туалета двери в коридоре. В четверти от пола она имела черные мазки от скребанья подошв, а покоробленный паркет вокруг, как в ожидании ремонта, никто не прибирал. Планка наверху была привинчена как сослепу небрежно, и трафарет на ней гласил: «Запасный выход». Напору тех, кто, может, в спешке, путал ее с дверью в туалет, она не поддавалась, за что ей, горемычной, и перепадало. Тот, кому надо, впрочем, знал, что ключ лежит – наискосок, под свернутым пожарным рукавом, который был за дверцей шкафа на стене посредством муфты состыкован с краном. Всех регулярных или самозванных посетителей, что попадали сюда в первый раз, из коридора уводила вверх, под самый потолок – дощатая крутая лесенка с проложенной по левой стороне полиуретановой трубой взамен перил. И то, что снизу выглядело как чердачным смотровым окном, при восхождении оказывалось лазом. Здесь потолок приподнимался, и трехметровый тамбур выводил за поворотом на террасу. Две махоньких ступеньки вели вниз, на выложенный чем-то грязновато-беловатым пол. А сбоку снизу и до кровли пристройку продурыавливала шаткая и безобразная железная конструкция, которая по плану экстренной эвакуации была

известна как «ПВ-1» и в обиходе представляла собой просто лестницу. Как сколопендра, упираясь в штукатурку здания своим грохочущим и содрогавшимся во время гроз хребтом, она в двух метрах от земли карабкалась на крышу. Хотя здесь никакого смысла в этом не было, такой запас был сделан, видно, по единому шаблону, чтобы в иных общественных местах отводить от пустого скалолазания ватаги подрастающих акселераторов из авангарда уличной пронирыливой шпаны. Но это лишь предположение, поскольку вход через люнет у кованых ворот всегда был на цепном замке. Специально галерея не отапливалась, но теплый воздух проникал сюда через отдушины из актового зала, поэтому во время перерывов – их каждый мог устраивать себе, когда хотел, чтобы рассеяться, лишь бы это не мешало основной работе, – даже и зимой при оттепели здесь можно было беспрепятственно гулять. В хорошую погоду из узких запыленных окон видны были две розоватых башенки у зеленеющего младшего кокошника на противоположной крыше и между ними – будто разгоняющие облака, рожки и мачты УКВ антенн. То, что этот запасной этаж при веской надобности использовался для переговоров, скорее всего, было пущенной с руки кого-то уткой. Известно, горы всяких небылиц о погребках, заброшенных мансардах и отсеках в старых зданиях на ниве мифотворчества как на дрожжах плодятся сами. И все же если в шкафчике с пожарным шлангом не было ключа, никто из посторонних больше уж сюда не заходил.

Похоже, чувствуя себя весьма комфортно в роли чичероне, Шериветев это место показал и время погода, когда они бывали тут, любил припоминать их первую совместную прогулку и поддразнивать.

– Заметьте: сорок восемь или пятьдесят шагов в один конец вдоль этой, сиеной крашеной стены, и столько же обратно. Но уж никак не сорок два! С вашими кабалистическими выкладками что-то, я смотрю, не совпадает. Никак не получается! Или надо на три с половиной умножать?

Он имел в виду определенную взаимосвязь всех чисел в Управлении, в мистику чего Статиков был склонен верить раньше.

– Так вы сказали, что этаж неполный?

– Я этого не говорил. Хотя за вами не угнаться: вы уж, знамо дело, до меня тут всё разнюхали, успели побывать! И что, надеетесь, придете как-нибудь, а вам тут на стене зараз совет какой-нибудь и выведут?

– Совет?

– Ну, или пророчество.

– Пророчеств вроде и внизу хватает.

– Да полно, неужто вы не поняли! «*мене, текел, упарсин*», – ни этого ли, часом, ожидаете? А ведь подсказывать тогда вам будет некому. Нет, все эти ваши цифры ровно ничего не значат. И герменевтика, и теософия вне сокровенных областей, где они еще пригодны, как журавли в тарелку мелкую с полбяной размазней клюют. По долгу обязательности как бы. Возьмите хоть какого-нибудь представителя распространенных неортодоксальных направлений: они, как правило, все начинают с критики масштабной и огульной, в своем святом пылу готовы ниспровергнуть всё до основания. Они, так, и не думают об этом, да в результате как с ораторским глаголом получается. Наговорил с три короба. А дело, как и было, швах. А почему? А потому, что они этого *хотят*, считают, что если правы в чем-нибудь одном, то правы и в другом. А если человек возводит что-то от ума, а не от разума, то он со временем, неровен час, заносится. Возьмите хоть бы госпожу Блавадскую.

– А что, *ум, разум* – разве не одно?

– Может и одно, это как кому досталось уж и повезет. Дело не в словах. Да ведь когда меж чем-то разницы не видят, то одинаково и применяют. Инструкция тут очень немудреная, по образу восходит еще к Библии: ум нужен, чтобы яблоко с ветви сорвать, а разум – чтоб совсем не рвать. Первый есть почти у каждого, второго же при нашей таковости, прошу покорнейше

простить, всем малость не хватает. Короче говоря, все то, что связано с оценочно-рациональной человеческой структурой, небесспорно. А если так, хоть это и не есть первостепенной значимости вывод, тогда сознанием возможно управлять. Не манипулировать, это для поденщиков с трех первых этажей, а управлять. Такая вот эвристика: как ни посмотри, а всё наука. Не перепутать бы ее на нашем хлебосольном языке с софистикой! Чего вы недоверчиво так глянули? У нас ведь так бы все и шло своим путем, если б не дороги. Напрасно, глядя на Европу, в российском теле косметические недостатки ищут, да имена на разные лады меняют. Переживали не такое. Мне все же любопытно: а почему вам кажется, что этот дополнительный этаж неполный? Неплохо бы узнать!

Но чаще он рассказывал о чем-нибудь предметном, на замечания, оброненные вскользь, можно было и не отвечать, если он не заострял на них внимание. Да он и не рассчитывал немедленно получить какой-нибудь ответ и, если такового не было, не переспрашивал, не придирался. И вообще, когда он что-то говорил, то надо было затаить дыхание и лишь внимать. Рассудок, занятый поденной канителью, в ходе этих разговоров прояснялся, делался взыскательней к себе. При этом Шериветев никогда не оставлял что-либо недосказанным, начатый и не всегда приятный разговор двусмысленно не прерывался им на полпути, а если он хоть в чем-то сомневался, то не таил это в себе и, коли был неправ, то признавался в этом не колеблясь прямо. Когда он увлекался, с живостью описывая что-нибудь, его речами можно было всласть заслушаться, он рассуждал с такой наглядной и исчерпывающей ясностью, что сказанное сразу же легко усваивалось. Но после, если возникала надобность припомнить что-то, в мыслях обратиться к тем же эпизодам разговора, то это было очень трудно воспроизвести, ибо оно обладало общим свойством тонкой популяризации, наглядности рассказа, в осадке оставалась только гуща. Глядя на него, невольно приходило в голову, что, не окажись он в Управлении, сложись его судьба иначе, он мог бы стать великолепнейшим рассказчиком и толкователем, таким импровизатором, который мог на пальцах объяснить как суть какой-нибудь метафизической теории, так и любой обыденный вопрос; и вообще придать нерядовой акцент всем злободневным темам (чему он с величайшим интересом предавался, как бы уступая жившему еще в нем детскому азарту, даже здесь). Порой, когда они вдвоем бывали в галерее, то он, подчеркивая важность темы и момента, замедлял шаги. А его взгляд, обыкновенно вдумчиво-открытый, как наливался тяжестью под бременем чего-то надвигавшегося издали, едва приметного, пока еще невидимого большинству людей, но неотвратимого. В течение таких бесед казалось, что он рассуждает более с самим собой. Словно бы ища, за что бы ухватиться, маетно поглядывал по сторонам, кружил своими карими глазами то по белесому настилу под ногами, то по элементам кровли за стеной, хотя не различал наверно ничего.

Однажды, накануне перемен, удушливым дымком которых еще только-только потянуло в Управлении, они прохаживались так же вместе. Косой расческой падали из окон в галерею теплые светло-оранжевые солнечные клинья: как срезы свежеструганной сосны с жужжавшими над ними мухами, они стелились по полу, переменяясь у простенков четкой сумеречной тенью. И было впечатление, что они идут по клеткам края шахматной доски.

– Обаче виночерпиев блазнит зело: перемещение, специалист бо дозде уньший! – промолвил Шериветев с ироничной грустью по поводу начавшихся перестановок. – Вот так, мой друг. Чего тут скажешь? без повода и конской упряжи не возразишь. Ну, воля ваша, коли уж на то. Да ведь кафтан-то, может, и ко времени, как говорят, да сшит не по фигуре. У вас, я слышал, тоже перемены: боярские хоромы, первенец в семье?

Когда он, хоть и редко, с ласковым укором спрашивал об этом, в более привычных выражениях или же используя свои не тлимые фигуры речи, незаурядные пропорции перспективы нарушались. Всепроникающий чудесный свет всё заполнял собой, струясь из выпученных, только что смиренных глаз. И Статиков мгновенно растворялся в этом свете, – *возвышенно снижал*, как сам же он определял это. И чувствовал в себе давящую громоздкость круга внеш-

него: и лепых белокаменных палат – и тех, что есть уже, и тех, что еще будут впереди, и неги домотканого уюта, среди которого он почему-то был один, не было уже ни Анжелы и ни Елены. На миг он впадал в панику, был целиком подавлен этим представлением. «Вот так и всё... и всё не так!» – свербело в голове. Но тут, испытывая как бы стыд за эту мысль, он снова видел Шериветева, уже иначе, более – физически и без смущающей харизмы, отстраненно. Не полу-бог, а точно падший ангел брел уж перед ним без мощных, растворенных за плечами крыл и лучезарных, защищающих рамена лат. И этот падший ангел, который им повелевал, был в твидовом обвисшем пиджаке с болтавшимся селедкой галстуком, в несвежей и застиранной у ворота рубашке и в сбитых порыжелых башмаках. В придачу – и с невнятными глазами, как топаз. Бубнил своё: «эге, загвоздочка!» – и шел к своей гибели, будто бы совсем не понимая этого. Чудаковатый всё-таки и... слишком откровенный!

VI. Перемещения

В кулуарах и у самоваров с журавлями и шнурами между затяжками и расстегаями с груздями и севрюжиной тянущим, поокивающим волжским говорком как мантру повторяли. – И эту новость тут же разносили сновавшие по этажам, все точно навощенные, в серых полиэстровых костюмах и стрижками *нювэй*, почти под ноль, проворно-наглые, как мушки дрозофилы, клерки:

– *Инспекционная проверка удалась!*

Когда служебная шумиха поутихла, Статиков уже был в ранге *референта*. Из переполненного как муравейник зала его перевели в просторную приемную на четырех персон, не столько приближённых, как он полагал вначале, а лишь географически приближенных к начальству. Хотя ни для кого такое положение не было в новинку, приказ о назначения сюда при открывавшейся не менее чем раз в три года должностной вакансии воспринимался с завистью и лестно. Помимо разных преференций – надбавки к жалованию и нескольких непротокольных привилегий, сама уж комната для тех, кто наделен был чуточкой художественного вкуса, могла претендовать на некоторый изобразительный оазис и дендрарий. Еще с тех пор, когда ему попала на глаза служебная записка Шериветева, и он по десять раз на дню заглядывал сюда, досадуя на свой хронический роман, и стоя как болван перед всеядной и любвеобильной Шамахановой, здесь ничего не изменилось. Душа-скиталица, известно уж, сама не знает, где найдет.

Оставшись рудиментом интерьерной роскоши и шика в учреждении еще с былых времен и сразу ставшая предметом сокровенных устремлений в плановом отделе, приемная по-прежнему была представлена – величественной *Butia eriospatha* в потолок, скребущей по плафону с пляшущими нимфами соломенно-зеленоватыми перьеобразными ветвями; разросшейся в кашпо и ниспадающей как дикий виноград по всей стене нефритово-шафрановой бегонией. Затем, в придачу ко всему она была с узорчатыми сверху стеклами в двух окнах и с малоизвестными гравюрами Шаллена и Буше по сторонам... (Если уж придерживаться тут абсолютной точности, руке Буше могли принадлежать с натяжкой две работы – «Автопортрет» и «Дама с веером» с картин Ватто: в лучшем случае две копии, но посторонних уверяли, что оригиналы; чего-нибудь в таком же роде, надо полагать, было и с «малоизвестными» гравюрами Шаллена). И всё это богатство дополнялась генеральным живописным дивом: крылатым женоликим Сфинксом на панно, предметом эстетического преклонения Доронина. В диагональ немногим больше метра, чудовище на львиных лапах восседало под загорававшимися в небе звездами среди унылого пейзажа из песков с проглядывавшей сбоку перголой у равелина и своей грозно приоткрытой пастью преграждало вход. По общим наблюдениям искорку «зловещего» вносил сюда еще оптический, точнее – стереоскопический эффект: комната была пятиугольной, от секретарского стола к массивной двери в кабинет Доронина, вдоль пятой дополнительной стены с панно и под углом к ассиметричным окнам вела ковровая дорожка. И женоликий Сфинкс, который словно был готов подняться на дыбы во весь свой рост, взирал на всякого входящего свирепыми, горящими как огненный пироп очами.

Доронин хоть и не высказывался в этом смысле прямо, но очень дорожил, как и самим панно – одним из малочисленных предметов старины, оставшихся тут после неумелой, грубо проведенной реставрации, так и его сюжетом, возможно, видя в том черты минувшего величия и блеска Древнего Востока, мотивы с отголосками таинственных преданий своих предков. Эстетствующий баловень судьбы и замаскированный эпикуреец, в душе он не был тем жестоким деспотом, каким мог показаться мало знавшим его людям. И, тем не менее, используя свой тонкий ум и всю служебную сноровку, сумел поставить себя среди подчиненных так, что

даже в полушутку в его присутствии никто бы ни дерзнул назвать означенное чудище каким-нибудь неблагозвучным именем. По части коллективной психологии здесь был тот редкий случай, когда вышестоящие начальники его ценили, хотя и недолюбливали, а подчиненные и уважали и боялись. И вот, должно быть, чтобы как-то скрасить это обстоятельство и возникающую, может, у кого-то параллель с фиванским мифом, а именно, что элитарный штат здесь чуть не ежегодно обновлялся, приемную, что по неведомым причинам прочно закрепилось, все называли – *Зимний сад*.

На эту тему, как и вообще на тему эвфемизмов – видимо, как некой памяти об общей колыбели человечества, при подходящем случае можно было бы поразмышлять отдельно. Но и само уж слово «Сад» у тех, кто появился в Управлении недавно и был лишен воображения, способно было вызывать спазмы раздражения. Прелюбопытно было уж и то, что это отношение сначала выдавалось или за банальную «дань моде» или за поверхностно-лексическое отторжение, без выяснения *зерна* вопроса, так сказать, предполагаемых гностических причин. Но если попытаться провести тут изыскание, то можно было обнаружить, что неприятие какого-либо словосочетания, направленное внешне на физический объект, сначала выражалось в пустяках, от скрытого непонимания до аргументированной и полушутливой критики; но после, словно бы распухнув от абсцесса, стремилось обратиться в стойкую и неприкрытую враждебность ко всему, чего имело хоть какое-либо отношение к злосчастному объекту. При этом дело осложнялось тем, что как «заядлым консерваторам», так и оппонирующим им «псевдо-либералам», похоже, было трудно отделить свои пристрастия и от самих себя и от изначально вызвавшего всю полемику вопроса. Используя для этого по большей части индуктивный метод в рассуждениях и вместо синтеза анализ, разницу между, условно говоря, *имперским* стилем и *модерном* обе конкурирующие стороны определяли сами: одни, что были раньше и ушли, как полагалось, *всё испортили*, а этим «выскачкам из-под стола» пренебреженно надо было *всё осовременить*. Тут вроде как при перемене ветра и температуры за окном, заимствуя вслепую кое-что у архаичных представлений, люди исходили из того, что при упоминании о том или ином явлении, может повториться и оно само. В таком значении, хотя исконная основа подлежащих мало изменилась, любое прежнее клише или название грозило оказаться пережитком. Проблема по своей фактуре виделась заплесневелой и на протяжении десятилетий была уже порядком унавожена, как говорили ветераны учреждения. Но чем сильнее рос вокруг нее ажиотаж, тем с большим воодушевлением ее эксплуатировали.

С новым окружением он был уже знаком. Наставником и непосредственным соседом его оказался Лапин, дотошный и всеведущий советник по финансам, имевший, если можно так сказать, и сложную и оригинальную натуру. Для тех, кто меньше знал его, это был непроницаемый, тяжелый на подъем и неприступный человек с одутловатым сангвиническим лицом и переменявшейся от «редьки до крахмальной патоки», – как сам он говорил, когда желал кого-нибудь поддеть, двусветной и двухтактной мимикой. Когда его сурово-неподвижный взгляд из-под кустистых сросшихся бровей, сначала упираясь в грудь, старался пригвоздить вошедших к месту и те, переполняясь чувством пиетета, пускались в путаные объяснения или сникали, то Лапин сразу же стирал с лица суровость. Легким панибратским мановением руки он подзывал просителей, усаживал перед собой на стул, который был с апоплексическими сломанными ножками, и говорил:

– Слышал я о вашем деле, слышал. Так вы хотите, чтобы я помог?

Выслушав обычно утвердительный ответ нетвердо ощущавших под собой опору посетителей, он начинал рассказывать какой-нибудь курьезный случай или подоплеку происшествия, о каковых он вычитал в газете. При этом он следил за выражением лица просителя и ожидал, чего и как тот скажет. Подверженный стихийной перемене настроений и безнадежно как от малярийной лихорадки сам страдающий от этого, на первый взгляд он презирал всех малоопытных клиентов, включая нагло-торопливых ходяков из смежных департаментов,

являвшихся за помощью, по выражению его, как на свои же именины (делая тут, правда, малую поблажку более чувствительному полу). Но это была видимость, на самом деле, он в такой манере защищался. Для тех, кто ближе знал его, это был большой охотник до залежалых неразгаданных кроссвордов, корпоративных вечеринок и гурман. В случавшихся иной раз обсуждениях, когда затрагивались социально значимые темы, радея за «идею, а не за девиз», по каждому вопросу он тут же выдвигал свои соображения и, защищая их, бывал довольно резок. В таких оттенках он, как правило, преподносил себя. И все же свое подлинное кредо перед сослуживцами Лапин целиком не раскрывал, но полагался в этом, как ни странно, больше на перо и на бумагу. В отделе всем запомнился его публицистический конфуз. В начале летнего сезона, располагая раздобытой где-то информацией и временем, он написал две недурных статьи на злобу дня и напечатал их – «польстившись на соблазн» – в явившейся как шарообразные дождевики из-под земли демократической безгонорарной прессе. Падкой на сенсации и позаторможенной в период отпусков редакции материал понравился: она без промедления ответила бесплатным номером с одной его статьей и вложенным купоном полугодовой подписки. Прочтя хвалебное послание в конверте, Лапин обругал редактора по телефону, оставив тому право сатисфакции, а даровой купон, задевший его как пощечина, с кратким и горячим пожеланием тут же отослал обратно. Он заявил, что уж никак не ожидал такого отношения со стороны маститого когда-то массмедийного издания, которое поисписалось, видно, до того, что подошло к черте морального банкротства. А на саму редакцию, тянувшую за свой сухарь лямку профессиональной подневольности, не то, чтоб осерчал, но больше не желал иметь с ней никаких контактов. Он уверял, что подыскал теперь для своих «философских опытов» более приличных учредителей в окололитературной индустрии и этих пор имеет дело только с ними. Однако он все еще переживал тот эпизод, – честил всех нуворишей, которые в воскресный день на паперти гроша не подадут, и тяготел по широте души к масштабным рассуждениям. Вершилось всё это по одному сценарию, как отработанный китайский ритуал. И выглядело так.

Обыкновенно Лапин начинал с проклятого вопроса о погоде, – то есть о глобальном потеплении и непомерном разрастании озонных дыр, казавшихся ему особо мрачным знаком, при ускорявшейся абляции и беспримерной аномалии геомагнитных полюсов (как правило, с отдельным оборотом речи насчет шныряющих враждебных НЛО и иже с ними тектонических подвижек).

– Иные говорят, мы сами это создаем, будто бы от своего невежества чего-то там домысливаем, поэтому, мол, всё такое заслужили. Чушь! И здесь и дома своей благоверной говорю, что – чушь. Но ключевое слово, которое они хотят в нас всеми силами внедрить, заметьте: *заслужили*.

Упомянувши об озонных дырах и подвижках, он неторопливо лез в карман – и оставлял на время руку там, как, позабыв, зачем он это сделал. Затем, расслабленно заваливаясь через подлокотник кожаного кресла, он делал рекурсивный переход к колонке новостей в «Ведомостях», произносил две-три мудреных фразы касательно финансовой политики, выстраивая их мастерски в таком ключе, что без *прозрачности и чувства локтя*, достичь порядка в этом деле невозможно. И после паузы, в течение которой его обширнейший льняной платок проделывал круиз от брючного кармана к щербатому утесу подбородка и обратно, а кормчий заразительно чихал, что походило на раскат прибоя. – Только уже после этого он вновь гагатом неподвижных глаз смотрел на Статикова и как бы в продолжение текущей темы сообщал (хотя, на что конкретно сетовал, неясно) про подлую манеру некоторых украдкой что-то бормотать.

– Помилуйте, зачем же на латыни? А золото, фамильное, он вам не предлагал? Чего-то всё же дешево, я вам скажу, не в авантаж! Супруга-то ведь – стюардесса, знаете? Международные дела и всё такое. Каир, Афины, Рим...

Здесь в комнате срабатывал секретный механизм как в музыкальном аппарате, снабженном поворотным барабаном с перфорацией. Элеонора Никандровна, сидевшая наискосок от

Лапина (теперь она была в красиво завитом, с тонами перламутра парике и уверяла, что проводит ежегодный отпуск не одна: сначала на Сейшельских островах, а после со *своим* любимым, в Турции), форшлагом кашляла и говорила с придыханием и сглатывая лишние слова:

– А что за это *знааям, аа?* на раз уже говорено! Скажите, *Фил-Инаатчи!*

Полуглухой эксперт Калугин – Филарет Ипатьевич, как арабийский бедуин под перевязанной бинтами пальмой, истово кивал. Упомянуть о Шериветеве, мятежный дух которого все еще витал здесь, было неприлично.

Статиков от всей души хотел бы чем-то сдобрить этот сатирический портрет, смягчить его хоть задним бы числом мажорными тонами. Но он тогда уже настолько свыкся с тем, что видел ежедневно, и сам проникся тем же отношением, что постигал это не обостренно и не чувством, по крайней мере, без противоречиво-негативной рефлексии (что вообще-то было в жизни свойственно ему). Вне службы или в небольших командировках, которые он сам себе устраивал, чтобы не заикливаться на текучке, этот специально выделенный, все примечательный учетно-резюмирующий орган отдыхал. Но только он входил в служебное парадное и направлялся в Зимний сад, который, следуя пришедшей моде, все чаще уже называли «малым офисом», его рассудок точно термопара перестраивался и пел со всеми в унисон. Наверно то же было у его коллег, у всех, кто ежедневно с ним здоровался и по-приятельски оказывал содействие в работе. В чужих просчетах или слабостях «реалистический поход и здравый смысл» пробовал найти любое преимущество и выгоду, которую он мог бы для себя извлечь. «*Ан дежесмый недесным убо аз?*» – как вероятно выразился бы Шериветев. Да, чем больше отрицаем мы чего-нибудь в своей душе, тем, видно, больше от того зависим. Еще за год до этого, попав как «ренегат и верхогляд» в немилость и после этого, причем *своим же* коллективом осужденный и отторгнутый (Доронин избегал произносить фамилию, использовал любое имярек), наверное, он только усмехнулся бы, узнав, что эдакий пустяк кого-нибудь тревожит. И все-таки докучливые мысли в одной упряжке со словами *подсидел* и *выжил*, хотя и с сослагательной частицей «бы», но приходили. И оттого что они приходили, будто бы ища доступную извилину в мозгу, чтобы отложить там яйца, на новом месте поначалу было неуютно. Одолеваемый приливами самовнушения, чрезмерно требовательный к самому себе, он просто так уж все это воспринимал. Сказать по совести, он и упрекнуть себя ни в чем не мог. Наоборот, когда он размышлял о Шериветеве, припоминая их беседы в верхней галерее, и взвешивал в уме все «за» и «против», ему сдавалось, что, откажись он еще раньше от чего-то, скажи чего-то или поступи не так, то он бы непременно проиграл. И проиграл бы он не только в том, что делало устойчивым его служебный статус и авторитет в глазах коллег, он мог бы потерять тут сразу же во всем. Внутренне он был не готов к такому обороту. Следуя тем эвристическим и неизведанным путем, каким шел в жизни Шериветев, подталкивая вроде и его к тому же, он мог бы потерять тут куда больше, нежели все то, чего уже имеет и еще сможет, если уж отчаянно захочет, получить. Как по своим воззрениям, так и по этическим критериям, он хоть и имел аналогичные суждения, однако не был Шериветевым, да и не хотел им быть. И это положение, или должностная конъюнктура, какой бы отрицательной реакции в его душе такое словосочетание ни вызывало, являлось более существенным, имело во сто крат превосходящий вес, чем увеличенная премия к зарплате или послужные бонусы. Под действием того, чужое неприятие любого неформального инакомыслия, – то есть хоть бы незначительное отступление от общепринятых, укоренившихся и зачастую ложных представлений, – он понимал как непреложную и объективно-обусловленную данность. Свое же отношение, то есть внешнюю терпимость к этим проявлениям, – как субъективно-преходящую и вынужденную меру, как своеобразный умственный радикализм. Это был такой радикализм, который даже возвышал его в своих глазах, поскольку был необходим, чтобы сократить, насколько получалось, всю меру расхождения с позицией других. Причем неважно, была ли та позиция заимствована у кого-то, временна или же со своего плеча, родная. Когда он думал так, то полагал, что если он осознает свою услов-

ную терпимость и коловратность всяких перемен, способен здраво рассуждать и еще видит в отношениях иных людей не более чем пережитки варварства, прожорливую зависть или мракобесие, то может запросто вернуться к прежним основаниям в себе. Трудолюбивый и усидчивый, он не заикливался на таких вопросах, все эти мысли проходили как бы стороной, в душе он ими брезговал, при этом на потребу дня не суесловил, не перегонял ртом воздух, честно выполнял свою работу. А если так, он рассуждал, то значит, дело поправимо. Беда была лишь в том, — и тут, пожалуй, окопалась главная помеха, да и не только его личная, что тем, кто раз от раза это повторяет, обычно уже нечего терять.

И вот за этим назначением, когда уж на носу был годовой баланс, а жизнь, переболев служебной лихорадкой, покладисто вошла в размеренное русло, последовала маршем цепь других коллизий, таких беспрецедентных, говорили, что и взять в толк никто не мог.

Перед второй декадой декабря, бесснежного и лютого от этой незадачи, зная, что по четвергам начальство редко вызывает, Статиков с дурным предчувствием вошел в похожий на паноптикум роскошный кабинет. Ноздри его тут же уловили запах прели: в двух алебастровых сосудах на скрещенных подставках в нише — агонизировали георгины, квелые и пунцово-свинцовые как птичьи потроха. Спортивный арбалет, до этого привинченный к стене тремя никелированными скобами, уже исчез. Нелишне было бы сказать, что смена атрибутов обстановки, следуя превратностям судьбы, здесь происходила регулярно. Выходец по материнской линии из сказочной страны зороастрийских магов и Шехерезады, Доронин слыл большим поклонником всего изящного, и антиквариата и браканта. Когда он видел что-то стоящее (Статиков отметил это как-то раз на ежегодной промтоварной ярмарке с развернутым на финише недюжинным аукционом), его продолговатое лицо, как у питона, становилось хищным. Предметы это уважали и будто сами шли к нему. Без сколь-нибудь реальной надобности, впрочем, служа как бы своей мазуркой и буре — облагороженной придворными балами, вольной и непринужденной пляски галльских дровосеков, своеобразной декорацией на будничном фасаде жизни. Но также быстро он и к людям и к вещам охладевал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.